

В.Бахревский

ХОЖДЕНИЕ  
ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ

Повесть





## Г. ЗАБЛОЦКИЙ

### ОСЕРЧАЛ БОЯРИН НА ЖЕНУ

Пироги понесли подовые да пряжные \*, с визигой — хозяину славному боярину Василию в угоду, с грибами — для думного дьяка, человека царю близкого степенного Третьякова, с рыбой простенькой, да с рыбой белугой, да с мясом пироги — один со свиной, другие с зайчатинной тушеной, с телятиной парной, с барашком, да было тех пирогов сорок. А к пирогам, почтенному пиру на удовольствие, вышла из покоев драгоценная хозяйка боярыня молодая Мария Романовна. Вышла и в дверях темных осталась. То ли на нее пошел свет, то ли от нее самой — потупились гости: срамота. У боярина Василия от такого выхода поясок ременный на животе лопнул.

Вышла Мария Романовна к гостям ненамазанная, ни белил на лице, ни румян, ни сурьмы — со своим лицом вышла, бесстыдница! С княгини Черкасской моду взяла. Та и в церковь ездит на посмешище всей Москве такая вот. Хороша лицом княгиня Черкасская, а Мария Романовна — пуще! Смотреть боязно! Такая царица пузану Ваське досталась. Повела рукой в темноту Мария Романовна, объявилась чара в руке. Подошла к почтеннейшему гостю, к Третьякову, поднесла ему чару, а как осушил, удалилась.

Во второй раз вышла в другом наряде, другому гостю подносила. Шестнадцать человек было, в шестнадцати сменах выходила боярыня, последний наряд лучше первого был. На голове венец малый, с теремом, с маковками, с петухами. Окна в тереме — камень лал \*, глаза у петухов — изумруд-камень. Ферязь \* на ней легкая, из-под ферязи воротник из дивного заморского жемчуга,

сапожок красный, на высоком каблуке, золотыми цветами расшит.

Встала Мария Романовна к стене, у края стола, по-тушила голову — все как надо, ждала, когда боярин Василий пригласит гостей целовать жену. Пригласил.

Целовали по очереди, по степени, и каждого одарила Мария Романовна кружевным платочком. Ушла Мария Романовна на свою половину, к своим гостям — к женам завидующим и глупым мужей значительных и нужных, а пир чередом поплыл.

Жарко стало. Распахнули бояре да дьяки шубы, шапки снимали. Положили на колени.

За беседой боярин Василий невзначай будто бы вспомнил, как думный дьяк Третьяков подарил царю Михаилу братину\*.

Третьяков приятно обрадовался.

— Государь оценил подарок и за красоту, и за слова потешающие. На дне-то братины приказал я выбить: «Человече! Что на мя зрители? Не проглотить ли мя хочешь? Аз есть бражник, возри, человече, на дно братины сея, открыеши тайну свою».

Гости засмеялись, а дольше всех смеялся боярин Василий. Был он толстый да хитрый. Дал Третьякову разойтись, потом вспомнил, как выбирали Михаила Федоровича в цари, как Заруцкого на кол посадили, как повесили четырехлетнего сына Марины Мнишек\*, а дальше сам бог велел ругать полячков. Они и веру пошатнули, и нравы испортили; молодые, глядя на них, забывают заветы отцов, по-своему хотят жить, богомерзко. За шумели бояре — наболело! А Василий, подливая Третьякову двойного вина\*, вспомнил шурина, дворянина Бориса Заблоцкого. Борис Заблоцкий, брат Марии Романовны, уже год сидел в тюрьме за побег на чужую сторону. Боярин Василий слышал, что царь собирается кликнуть людшек в сибирские воеводства, туда же на хлебопашество отсылают многих душегубов и прочих воров\*. Третьяков — человек умный — выслушал молча, а говорить стал про белую заморскую кобылу боярина Василия, сильно хваля.

Боярин Василий сразу вроде бы захмелел, зашумел, забахвалился и — бац! — при честном народе:

— Дарю!

Удался пир на славу.

Соколом влетел в покои Марии Романовны толстый боярин Василий. Встал у порога. Один глаз в прищуре, другой на жену, одной рукой на косяк оперся, другая за спиной. Взвизгнул, как бешеный татарин:

— Ведьма! Захудалая бабенка! Род сатанинский. Что глаза лупишь?

— Никакого греха за мной нет, Василий Васильич, — ровно сказала Мария Романовна. — Третьего дня Благовещенский настоятель укорял московских жен, что лица размалевывают.

— А ты лучше всех, сатана? Срам. На всю Москву — срам. Рожка ты прескверная.

— Василий Васильевич...

— Ма-а-а-лчать!

Боровски подскочил к жене, в руке, что за спиной держал, — кнут. Раз хлестанул, другой, как, бывало, первую жену учил, — и страшно стало.

Не завыла Мария Романовна. Рукой лицо заслонила, молчит, а из-под руки такой спокойный глаз, что у Василия Васильевича в животе послабляюще булькнуло.

— Чевой-то ты? — И кнут уронил.

Подняла Мария Романовна кнут, подает мужу.

Тот, будто во сне, взял.

— Иди, боярин, к себе. Протрезвей.

Голос, как влажный камень поутру — холод. А на плече у Марии Романовны, сквозь разорванную тонкую ферязь, алые паучки.

Был кнут с железами.

Утром из церкви, люто помня про вчерашнюю обиду, заехала Мария Романовна к Арине Никитичне Годуновой.

Арина Никитична — сестра патриарха Филарета — была своим человеком у царицы. Царица слыла тихой, резкого слова от нее не слышали, чужое несчастье принимала как свое, ни в чем и никому не отказывала. О бедных заботилась как могла, а пуще всего — о скорбящем ногами царе.

Арина Никитична Годунова, обедая у царицы, сообщила по секрету, что знает человека, который лечит боль в ногах. У Михаила Федоровича как раз был приступ, и царица велела найти лекаря.

Тем же часом боярина Василия позвали в Кремль.

Царь принял весело, нетерпеливо, за рукав подымая боярина с полу.

— Хватит! Хватит, дружок, Василий Васильевич, спасай уж лучше, никакой моготы нет.

— Как же это спасти-то? — не понял боярин.

— Да как знаешь, дружок, так и спасай.

— А чего ж я знаю, государь?

— Не знаю, чего ты знаешь. Лечи.

— Смилуйся, государь! — Боярин рванулся из царских рук и так поспешно вдарился лбом, что встал на него, и ни туда ни сюда, хоть плачь.

— Да ты что, сукин сын, лечить меня не хочешь?! — закричал государь.

Василий Васильевич не в силах разогнуться и в ужасе от того, что вот-вот завалится через голову, закричал, давясь бородой:

— Государь! Оклеветали!

Догадался наконец согнуть колени и, уже сидя лягушкой, тянулся губами к царскому сапогу.

— Не могу, государь! Голову отруби, не могу!

— Вот и отрублю, — сказал Михаил Федорович тихо, но внятно и крикнул стрельцам: — Кнута ему, чтоб науку свою поскорей вспомнил.

Страдать твоим людишкам, Россия, страдать вечно.

Вот и везли на допрос человека любезного. Не озорной молодец, не беспутный старик, человек разумный и красивый — такой в грех впадает по уму, а не по скудости.

...Сыскной приказ\*. За столом дьяк. Кивнул стрельцам, чтоб оставили наедине. Подул на замерзшее слюдяное окошко, пальцем потер проталину, прильнул с любопытством, а сам в это время спрашивал, не вслушиваясь в слова и не ожидая ответа.

— Борис, сын Заблоцкий, с чего бежал к полячишкам? К вере их нечистой? Чем хотел у них выслужаться?

И вдруг повернулся и посмотрел в глаза. За целый год тюрьмы, за многие пытки впервые встретил Борис Заблоцкий умные глаза. И хоть скучно спрашивал дьяк, для чина только, и хоть понимал Борис, что ничего уже не изменит его ответ, что все решено, может быть, смертный приговор решен, сказал страстно, ради умных глаз:

— Не изменял вере. России не изменял, знать хотел о далеких странах.

Усмехнулся дьяк без ехидства.

— Милостью царя поедешь, дворянин Борис Заблоцкий, в дальние страны.

И когда заколыхнулось у Бориса сердечко, дьяк опять усмехнулся и, глядя невесело, досказал:

— К юкагирским народам, в ледяную Сибирь велено тебе. Московский дом твой в казну взят. Если есть с кем попрощаться, поди. Во второй час ночи гнать тебе в Великий Устюг, наберешь там охочих людей — и с богом. Чего хотел, то и получил: быть тебе далеко — одной дороги год с половиной.

Из тюрьмы пошел Борис Заблоцкий в баню. С ним двое стрельцов. Был он над ними начальник, а они его стерегли.

Дело двигалось к весне, но морозы стояли хорошие и темнело рано.

Из бани выкатилось на Бориса облако. Морозная заря жиганула бронзой по облаку, поземный ветер шевельнул его вправо, влево — и сорвал. Стояла перед Борисом бронзовая баба.

Засмеялась.

Скакнула с хохотом мимо и большой белой рыбой — в мягкий высокий снег.

Ахнула. Да еще раз ахнула!

И стояла недвижно Москва перед Борисом, стояли белые дымы над Москвой, и на всю ее, тихую, ахала белая баба.

Ослабел Борис. Давнуло с подлавок тяжелым, застоявшимся паром, очурбанило голову, упал было.

Сунул заросшую опальную голову в холодную воду, отошел. Слабыми руками поводил по тюремным своим телесам, плеснул водичкой раз, другой и запотел. Обволокла его дрема. Не было силы, и охоты не было думать ли, двигаться ли.

Зудела иступленным зудом спина, пробирал озноб. Каменные холода вышибала из него баня, и он улыбался, как дурачок.

Уже при звездах явился Борис к дому боярина Ва-

силія. Явился с боязнью, что не примут, но приняли вдруг поспешно, без долгих русских церемоний.

Опало сдобное тесто, и простунило на боярине Василии маленькое напуганное лицо:

— Господи, Борис Романович! Рады мы тебе, да беда, неладная беда у нас. Прости ты бога ради, ничего я не соображу никак! Научи ты меня, умный человек, бога ради!

Какого угодно ждал Борис приема, а о том, что большой боярин в ноги ему плюхнется, и во сне не видал.

— Оклеветали меня, Борис Романович! С головой пропал! Пропал! Про-о-па-ал!

Это уже боярин пел для себя, и, не зная как быть, Борис тоже уселся на пол. Пришлось ему приютить на плече распыльчатую щеку несчастного зятя.

Тот шепотом плакался, а сморкался трубно, на весь дом.

— Донесли царю, будто знаю траву от ножных болезней. У царя-то ножки свербят, а я-то никакой травки не знаю, и велел он бить меня кнутом и до утра думать...

— Кто оговорил-то, Василий Васильевич?

— Не знаю. Может, Бутурлины, может, Облязовы. Ведь все за места дерутся, а в драке каждый побольней норовит вдарить.

— Мария Романовна-то что думает?

— Не знаю. В ссоре мы. Не пускает меня к себе. Я хоть и виноват перед ней, да ведь не чужой. Муж!

Он вдруг вскочил, ударил пудовыми ножками в белые половицы:

— Муж я! Господин!

Шапку бросил, засиял бритой на татарский манер лысиной — и поник. Побрел в угол за шапкой, поднял и, держа ее в руках, просил Бориса жалобно:

— Порадей, шурип. Я ведь тебя из ямы вытащил, а ты меня от плахи спаси. Поговори с Марией Романовной, она умная, а я умом совсемушки осиротел.

Борис поклонился боярину.

— Спасибо, Василий Васильевич! Не забуду твоей доброты. Небось дьяки-то ободрали?

— Чего там! Родственники ведь. Жизнь видишь какая! Вчера был хозяин себе, а завтра зарежут. Держаться друг дружки надо.

— Чтoб держаться-то — руки коротки, Василий Васильевич. Из Сибири не дотянешься.

— Ишь ты! В Сибирь послали! — притворно опечалился боярин. — Это ж не слаще тюрьмы. Ледяной погреб.

А сам был рад, рад! И помог родственничку, и сплавил опального с глаз долой.

Мария Романовна как упала на грудь Борису, так и затихла. Поцеловал он ее в сухие глаза, а сам плакал.

— Очнись, Маша! Времени у меня мало.

По-птичьи затрепетала, ухватилась большими глазами намертво.

— В Сибирь!

— Пока в Великий Устюг.

— В Сибирь?

— Потом — да. В Сибирь.

— Братик ты мой, Бориска. Единственный на свете друг. Невозможно ведь так жить... Одиноко. Что же с тобой будет? Боже ты мой, зачем дал ты мне ум?

— Не так уж все страшно, Маша! Там ведь тоже люди живут. Своей охотой. Я вот за охочими в Великий Устюг еду.

— Шубу! Шубу тебе надо добрую!

Мария Романовна заметалась, кликнула служку, велела шубы тащить.

— Подожди обо мне хлопотать, — попросил Борис, — у тебя там Василий Васильевич голову потерял.

— Пока не потерял. Он ее завтра потеряет.

— Что случилось-то у вас?

— Что? Поучил он меня. К гостям вышла ненамазанная. Вот и я поучила его.

— Тю-тю! — догадался Борис. — Совета твоего прислал просить.

— Пригодилась, значит? Ах, боярин, боярин! В Думу ведь ездит. Советы царю дает.

И опять засуетилась, столы накрывать велела, а потом упала на заморский стул и залилась горячими российскими слезами.

С боярином своим была Мария Романовна строга. Говорила властно, тот слушал да кивал.

— Возьми сушеного ландыша, от него сон крепче, тоску он гонит, возьми корень айра — изжогу лечит, тысячелистник возьми — покушает царь хорошо, ну и укропа для приятности. Травки эти есть у нас, смешай их и в питье. Вреда не будет, да и пользы никакой. Повелел



тебе государь лекарем быть — будь им. Его немцы небось меньше тебя знают, а в почете.

Наутро боярин Василий был у царя, врачевал, и успешно. Михаилу Федоровичу вдруг полегчало, наградил он боярина шубой, а потом велел бить кнутом: знал средство, а утаивал, не хотел своего государя лечить!

## ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Из-под полоза выбегала дорога. Лес да клоч небес. Не было и над полями неба, что внизу бело, что вверху. Стояли дымы над заснеженными избами, махал широкими крыльями ворон и не мог никуда улететь, храпели лошади от бега, а чудилось, что тычутся они мордами в ясли, жуют и дремлют. Ничто никуда не двигалось, одна дорога бежала. Под усыпительный скрип полозьев кипела безнадежная мстительная ярость.

Дал бог жизнь тебе, человек? Зачем? Ум твой твоему государю не надобен, ученость твоя твоему государю не надобна, честность твоя — не надобна и храброе сердце тоже. Коль не надобен, почему не отпустить на все четыре стороны? Ведь где-то нужда в ученом человеке, где-то в цене честность, прямая как меч, где-нибудь обрадовались бы храброму воину. Так нет! Ни себе, ни тебе. Человек не нужен, нужен мешок с костями, с дыркой для жратвы, с толстым задом для сидения. Сиди помалкивай! А не хочешь — в тюрьму! Себя захотел покавать — в тюрьму! Жить не по старине задумал, не по заветам отцов, а по-своему — в тюрьму! В тюрьму — за умысел! А весь умысел — не зазря чтоб жизнь прошла. Чтоб хоть что-то совершилось в этом заснувшем мире.

Гони, ямщик! Далекий путь, государев наказ!

В Ростове Великом было пусто. В смуту \* поляки да казаки свирепо разграбили и пожгли город. Поднимался он из развалин медленно. Хорошо жилось только людям Варницкой слободы. Здесь варили соль, а соль в Московском царстве ценилась дорого.

Борис Заблочкий, уставший с дороги, больной после тюрьмы, задержался в Ростове, надеясь приехать в Великий Устюг не хилым опальником, а государственным человеком с голосом зычным, с пронзительным глазом, на руку тяжелым.

Смотрел Борис, как строят десятиугольную земляную крепость. Опять закипала злоба. Строили крепость по приказу великого «радетеля» за Россию, святейшего человека, отца православной церкви и отца Михаила Федоровича, по приказу патриарха Филарета \*. Того Филарета, который ездил в Польшу звать на русский престол королевича Владислава, Филарета Романова, получившего патриаршество из рук Тушинского вора.

Молчит Россия. Бьют — молчит, жгут — молчит, разойдется — падают под неумолимой рукой не те.

Загляделся Борис на молодницу. Ходила по воду. Несет большой глиняный кувшин на плече. Кувшином и загораживается. Из-за кувшина-то, как из-за угла, два синих озера. Примерзли сапоги у Бориса к дороге — и вдруг залязгали цепи, заплясало перед глазами сизое лицо дурака.

— Боярин, хороший, купи русьскую землю за грошик.

— Сгинь! — тихо и властно приказал Борис.

Дурак, обвешанный цепями, вдарился вдруг в ноги, рассыпая проклятый звон, и снизу, неимоверно запрокидывая голову, потянулся козлиной бородой к Борису.

— Боярин хороший, купи русьскую землю за грошик! Купи, миленька-а-ай!

Завыл.

Не помня себя, Борис, посадивший на правой руке пернач \*, размахнулся и ударил. Вопль оборвался, дурак вздрогнул спиной и лег на кровавый снег. Борис увидел босые красные ноги, сплюнул и пошел на ям \*.

Ныло в тоске сердце. Приказал ехать. Ехали целый день, а дурак не выходил из головы, не было прощения безумному гневу.

Мчался как угорелый сквозь ночь, до смерти пугая лютым гиканьем лошадей. Следом за ним — злые от недопоя стрельцы. Ночь была огненная, как наваждение. Слепыми щенками низко висели звезды, срывались, шарили по небу. Лошади храпели, всхлипывал от ужаса ямщик. Орало где-то.

Борис встал вдруг на возке, схватил ямщика за плечи.

— Назад! Разворачивай, охотник!

Огрел по спине кулаком. Вырывая вожжи, развернул лошадей.

— Назад! Разва-а-арачивай! — благим матом вопили стрельцы, чуя смерть отовсюду — и перед носом и за спиной.

Борис погонял сам. Безумно раскатывались на спус-

ках, юзом шли на одном полозе — и стали наконец. То ли лошади стали, то ли Борис остановил. Пошел по дороге. Слушал, как хрустит снег. Лег, будто издыхающая лошадь. Терся щекой о землю, выворачивал измученный глаз к небу. Бессловесно, не осеняя крестом живота, просил тишины у бога.

Опять развернул лошадей на Великий Устюг. Ехал тихо. Никуда больше не торопясь. Лошади пофыркивали, скрипели полозья. И снизошел на людей добрый дорожный сон.

В Великом Устюге Заблоцкий поселился на Вздыхательной улице. Воевода обошелся с ним почтительно: хоть и опальный, да ведь родственник боярину Василию, а боярин Василий в думе сидит и царю непротивен.

Водил воевода Заблоцкого по крепости. На воротах Спасской башни, что гляделась на реку Сухону, икона Спаса Нерукотворного потемнела и покосилась. Две пищали немецкие без ядер: сто двадцать восемь затинных \* русских, наполовину для стрельбы непригодны, а какие пригодны — к тем ядер или нет, или есть, но мало.

Весна пришла, лед сошел, тогда и послали служилый народ по деревням с грамотами набирать охочих до Сибири людей.

Ждали тепла, большого базара, на базаре охочий человек в два раза сговорчивей.

А Заблоцкий по весне совсем хмурым стал.

## ПОХМЕЛЬЕ

Воевода позвал пятидесятника Афоньку Чеснокова.

— Скучает Заблоцкий-то. Целый год в тюрьме сидел. Соображай, Афонька!

Чесноков хмыкнул:

— Сделаем, и очень даже.

Крикнул стрельцу из своих. Пошептал ему на всю улицу в сообразительное ухо и на весь город досказал:

— Да чтобы стол был как стол, чтоб ножки подламывались!

Пили и ели прекрасно. Борис дивился на себя: вино не брало. Возвращалась былая сила. С каждой чарой он все пристальней и дольше смотрел в серые глаза хозяйюшки. А хозяйюшка, распрекрасная Василиса, с каждой ча-

рой все меньше смотрела на московского гостя, и, чтобы показаться, он запел. Запел и испугался: не слышал себя небось сто лет, но пелось звонко, и скоро он позабыл, что хотел выхвалиться, и пел ради песни, и от этого песня выходила еще складнее. Была она непонятная: слова веселые, напев горький. Сначала слушали — улыбались, потом — притихли, а потом защемило у каждого, и вспомнил каждый про свое лучшее, навеки потерянное. А хозяйшкa заплакала, не замечая слез, ей было можно, бабе. Уж и полюбила она бледного, как полотно, москвича, хлипкого на вид, а на взгляд — царя.

Разошлись вскоре гости по домам, а Бориса забыли взять. Сидел он, уткнув голову в ладони, пока не подошла со спины Василиса да не запрокинула ему доверчивую голову. А запрокинув, целовала, а он, невысокий, тоненький, поднял вдруг ее, большую, поднес к себе, как икону, и тоже поцеловал. Вся игра сошла с Василисы, и так затаилась она в ожидании любви, что стала робкой, как девственница.

В ту долгую ночь стояла на небе луна. И они отворяли оконце и целовались на лунном свете. И была та ночь лучшей и в его жизни, и в ее, веселой-то.

Утром барабанили в дверь и окно. Борис встал. Спокойно, ожидая всего, оделся, сунул за пояс нетуго оба пистолета, вышел на крыльцо.

Под окном стоял молодой мужик. Рубаха, разодранная до пупа, порхала, как бабочка, и мужик тянул ее за крылья книзу, и от этого старания крылья приобретали широту и большую свободу.

— Ты что барабанишь?

Мужик распустил крылья, поглядел на Бориса и передразнил:

— А ты что барабанишь?

— Ну-ну!

— Вот тебе и ну-ну! — опять передразнил мужик. — Видишь, рубаха лопнула у человека.

— А зачем стучишь?

— Я тебе говорю: видишь — рубаха лопнула. Балда! Починить нужно.

— Хам! — Борис выхватил пистолет.

Мужик завязал рубаху на животе узлом и уж потом только показал на воробышку, одиноко сидящего на маковке крытых ворот.

— А в него попадешь?

Борис прищурил глаза, прикидывая расстояние.

— Не попаду.

— А я попаду.

— Врешь, собака!

— Спорим! Попаду — твоя похмелка, а не попаду, — мужик развел руками. — Значит, не попаду. Нету у меня денег.

— Не попадешь, я вот из этого, — Борис погладил рукоятку второго пистолета, — расквашу твою башку, как пустой огурец.

— Согласен, болеть хоть не будет.

А воробей, глупый, все не улетал.

Мужик поднялся на крыльцо, повертел пистолет в руках, посмотрел на Бориса, усмехнулся и пальнул. От воробья только пух.

Взвизгнула, в одной рубахе вылетела в сенцы Василиса.

— Похмелье ставь, — сказал ей Борис. — А ты держи второй. Ну-ка вон по коньку на крыше.

— Жалко, — сказал мужик, — я лучше второго воробья подожду. Вон видишь на сарае.

Грохнуло — и второго воробья как не бывало.

— Годишься, — сказал Борис.

— Куда?

— Ко мне в отряд, в казаки.

— Я гожусь, — сказал мужик. — Да и ты ничего. Не дрейфишь. Пистолеты не побоялся дать.

— Язык у тебя, мужик!

— А чего? — высунул язык и все косил глазами, пытаясь увидеть.

Борис захотел.

— Пошли выпьем, хитрюга. Как зовут?

— Семейка!

— Семен, значит!

— Семен Дежнев.

— Ну, пошли, Семен Дежнев.

Со свету в избе было темно.

Один стол жил. Пылала боками круглыми братина, чары перебрасывались огнями, мерцала чешуей длинная, позабытая на вчерашнем пиру рыба.

Сели.

Василиса подала похмелье: ломтики баранины в огу-

речном рассоле, с мелко крошенными солеными огурцами, с уксусом, с перцем. Семен жадно перехватил из рук тарель, по-басурмански, через край прильнул к огненной мешанине. Передохнул, допил жидкое и, отирая рот и вспотевшее лицо, извинился улыбкой.

Выпили.

— Согласен в Сибирь-то или так, болтал? — спросил Борис.

— А что ж я, хуже других? Наших за Камнем-то \* знаешь сколько?

— Знаю. Не знаю только, с чего несет вас туда?

— От беспокойства. Тесно. Шагнул — Белое море, в другую сторону шагнул — Москва. А за Камнем хоть туда ходи, хоть сюда, а конца земли нет.

— На что он тебе дался, земельный конец? — встряла в разговор Василиса. — Тебе и здесь небось хорошо. Выпил — что небо, что земля — едино.

— А как же он мне не нужен, конец земли?

— Так и не нужен.

— Нужен.

— Зачем, глупая башка?

— Молчи, баба! Сказал нужен — значит, нужен. Не твоего ума дело! Нужен! А зачем — я, может, и сам не знаю, а знаю, что нужен. Да и-их! Стоять на самой маковке. Вся земля пройдена! И что там дальше — видно.

— Сеня, Сеня! Из тебя золотой бы мужик вышел. И работать умеешь, не балбес какой, добрый, пригожий, а все тебя за кудыкины горы тянет.

Заблюцкий встал.

— Вот тебе, Семен, на вино, в полдень приходи на Большую торговую площадь. Край земли хочешь посмотреть, со мной пойдешь, согласишься. Помни, верного человека не забывают. Я тебя не забуду. Прощай пока, Семен. Любовь у нас.

Василиса сидела, опустив голову. Семен взял деньги. Глядя Василисе в пробор, сказал:

— Пить расхотелось. Рубаху пойду покупать.

## НАБОР

Базарный день был светел и весел, как золотые головы сорока церквей Великого Устюга.

На трех торговых площадях суетилась Русь.

Белозерский купчишка Емельян Евсеев привез ложки.

Шесть тысяч корельчатых, десять тысяч плах да триста кленовых.

В сладком ряду торговали пряниками. Тут тебе и архангельская козуля, и холмогорская о четырех ногах, пряники путивльские, тверские. Торговля солеными сливами, вишнями в меду. Деревенщина привезла шестьдесят возов луку да чесноку столько же. Продавали на подъемах и тысячи. С рыбой беда, завалили прилавки, растогачили \* возы. Разорались в крике мужики, промышлявшие ершом:

— Ерши! ерши!  
Рыба мякотькая,  
Костеватенькая.  
Кто ерша купит,  
Того молодка поцелует,  
Молодец обнимет!

Трепыхались золотые живучие караси, окуни мерцали в зеленых, набитых травой корзинах. Язь, щука, судак, сельдь, да еще сельдь царская с Печоры, Двины в махоньких бочонках, засоленная так, что во рту от нее и прохладно, и солоно, и сладко. Длинная стерлядь, осетры, белуга. Суздалец Гришка Тимофеев явил три подводы икры, 30 белуг, 200 осетров свежих, 74 белуги свежие, да еще дорогую, любимую рыбку с душком, а стоил его товар 200 рублей.

Говяжье сало продавали бочками и возами, свиное и медвежье — караваями; масло коровье гляделось лунами из красных глиняных горшков, купцы продавали его и покупали возами, а конопляное, ореховое и льняное — бочками.

Медовый дух перешибал многие ароматы и запахи. Мед стоял в кадках, туесах, береснях, горшках, кринках. Им торговали монахи, седые лунявые старики и молодцы душа нараспашку. Манило в скромные затененные углы, где в кулях дремал покуда анис и хмель.

Семен потолкался там и тут, поглазел на ученого медведя, возившего по кругу воз, на котором в загончике стояли овцы с круглыми от страха глазами, пошел в ряды, где торговали одеждой и всякой всячиной.

Продавцы сапог посматривали на него с недоверием, но память в руках товар давали. Рубаху он купил сразу, свою скинул, надел новую, старую бросил нищим.

В этих рядах пахло чистыми холстами и сладко ко-

жами. Кожами торговали городов сорок. Были кожи конские, овчины, козлиные, яловичьи, свиные, кошачьи, мерлушка...

Горы мехов подманивали пуховитостью и теплым блеском. Белка, заяц, лиса, куница, хорь, горностай, выдра, норка, рысь — живи не хочу!

Семен любил меха, особенно куницу: хорошая темная куница не уступала неброским сановитым богатством даже соболю.

Семен все еще глазел на товары, когда посреди площади на заготовленном с вечера помосте появился зычный дьяк и, крикнув тишины, стал читать царский указ о наборе охочих вольных людей в Сибирь.

Люди Зabloцкого подкатили к помосту две бочки с белым вином, поставили на помост красный стул. Зabloцкий, окруженный стрельцами, сел на стул и, весело посматривая в толпу, стал ждать.

Вышел паря. Толпа ему была по плечо. Ножищи поставил робко, одна к одной, плечом заслоняется, как девица крылом, улыбка что блин на масленице.

— Меня возьми!

По тому, как шевельнулась толпа, как стало ей весело, как трудно погасила она веселье свое, выжидая и постреливая глазами, Зabloцкий понял: парень из дураков.

— В Сибирь хочешь?

— А что?

— Коль так, иди выпей вина за здоровье государя нашего.

— Да ну ее! Горькая! Я за царя-батюшку помолюсь лучше.

— Тогда за то, что ты не сробел, за то, что первым надумал исполнить государеву волю, получай алтын.

Дьяк нагнулся над ухом Зabloцкого и зашептал что-то. Зabloцкий слушал, не отпуская с лица улыбки. Дал парню алтын, спросил:

— Зовут как?

— Митяй.

— Слушай, Митяй, царю нужны слуги рукастые да головастые. Руки у тебя, вижу, подходящие, а головой как, силен?

— Головой не дюже! — Митяй сокрушенно вздохнул, а толпа, не удержавшись, прыснула.

Зabloцкий не смеялся.

— Отгадай, Митяй, загадку. Отгадаешь, возьму в Си-



бирь, а нет — и суда нет. Вот скажи, что это: «О шести ногах, о две головы, один хвост».

— Вошь, должно быть.

Торговая площадь взвыла от восторга.

Заблоцкий выждал, пока уляжется смех, и продолжал представление.

— Почему ж вошь-то?

— А кто? Ноги у нее есть. Твоя голова да ее голова — две.

— А хвост?

— Так, может, она по лошади ползет.

— Ну вот что, — решил Заблоцкий, — беру тебя в запасные. В Сибири-то небось не знают, что ты дурак.

— Знают, — Митяй совсем опечалился.

— Откуда ж?

— У Ивана Пуляева в работниках ходил я. Лошадь завязла, а я тащил-тащил — хвост оторвал. Вижу, больно скотине, а нога не вынается, я-то и отсек топором ногу. А Пуляев меня побил маленько и в Сибирь ушел.

— Гуляй покуда, Митяй, нам делом надо заняться.

Стал Заблоцкий строгим, спросил у толпы:

— Охочие люди до Сибири остались в Устюге Великом или перевелись? Желает кто идти на новые земли?

Из толпы вышло человек десять. Пока они пили вино, пока их записывали, набралось еще с десятков мужиков. Заблоцкий повеселел.

А Семен тем временем прошелся по кабакам Адовой улицы. Похвалялся:

— В Сибирь подаюсь. Айда со мной. Свет поглядим, соболя добудем, а то пройдет в нашем болоте жизнь — не заметишь, вспомнить будет нечего, внукам нечего будет рассказать.

Когда записался у Заблоцкого последний охочий человек, прочитал он в толпу слезную челобитную царю-государю Михаилу Федоровичу от сибирских пахарей:

«...Все мы людишки одинокие и холостые. Как, государь, с твоей пашни придем — хлеба печем, и ести варим, и толчем, и мелем сами. Опочиву нет ни на мал час! А кабы, государь, у нас, сирот твоих, женушки были, мы бы хотя избные работы не знали.

Милосердный государь, царь, смилуйся, пожалуй нас, сирот твоих бедных, своим царским денежным жалованьем на платишко и на обувь и вели, государь, нам прислати гулящих женочек, на ком жениться».

В толпе захихикали, но Заблоцкий махнул на нее рукой и крикнул:

— Девицы ли, вдовы ли, есть ли среди вас охочие — поехать к сибирским пахарям в жены им!

Наступила вдруг тишина над торжищем. Застеснялись люди чего-то. Мужики уперлись глазами в баб, а те — в краску — и хихикать. Понял Заблоцкий — охочих до Сибири женщин не найти. Но случилось чудо.

Молодая девка торговала расписными лукошками. С лукошком через плечо и взошла перед Заблоцким на высокий помост. Бабы завизжали аж, засвистели люто мужики, Заблоцкий и тот смутился.

— Сирота я. А мужикам сибирским не пропадать же.

Мужики к помосту подались, бородами распыхались, озорство в глазах.

Рассердился Заблоцкий.

— Тихо, мужицкий дух! Золотая перед вами девушка. На божеское дело идет, на царское, на людское ведь!

А у самого в руках пернач заиграл. Отшатнулась толпа. Затихла. Перед ней стояла высокая молоденькая девушка. На одном плече коса светлая, как речка по песку, на другом — алые лукошки, на щеках девический жаркий стыд, глазами — в небо, слезы из глаз, а стоит прямо, и гордая, как богородица, и тихая, как белая северная ночь.

Всему Великому Устюгу позорно стало от крика и топота, от корявости своей, от нечаянной злобы, от посоромщины.

А дурак Митяй встал посреди площади перед женщиной той на колени и перекрестился, как на святую церковь.

## ВОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Набрал Заблоцкий сто пятьдесят мужиков. В невесты к сибирским землепашцам собирались пока что две женщины.

Заблоцкий выдал будущим казакам малость денег и отпустил гулять неделю. Со стрелецким головой сговорились — на пьянство прощальное смотреть сквозь пальцы.

И «сибиряки» подрались со стрельцами. Пятидесятник\* Афонька Чесноков по привычке гаркнул в кабаке на голь перекатную. Другой раз сникли бы, а тут вдруг ответствовали так заковыристо, что Афонька пода-

вился пивом и в ярости запустил тяжелой кружкой. Пятидесятника хряснули по шее.

Стрельцы бросились на помощь к начальству. Братва очень этому обрадовалась и вынесла их из кабака на проворных своих кулаках.

Стрельцы кликнули своих и погнали братву по Гулящей улице в крепость. По исконной привычке пошла братва было врассыпную, но явился из-под земли Митий... Он взял двумя руками двух стрельцов и бросил в зеленую воду рва, потом взял еще двух и опять бросил. Тут ему неосторожно угодили в лоб, и он сильно обиделся. Не стал больше бросать стрельцов в воду, а стал больно бить их. И так больно, что они побежали, а братва подхватила Митяя под руки и увела в отвоеванный кабак. Никто гулящих больше не трогал, потому что воевода послал к Афоньке Чеснокову приказного человека и велел унять своих, ибо тому, кто идет волей в Сибирь, разрешается на Руси пить и песни петь сколько хочешь.

Казак гулял, а Заблоцкий жил тихо и печально.

Поставил себе Заблоцкий зарок: наловить речного жемчугу, сделать из жемчуга крест и подарить тот крест своей несказанной Василисе.

Семен помог ему сбить плот, смастерил из легких шестов деревянные клещи, и поплыли они по реке.

Чтобы ловить жемчуг, плот делали с окном. Ложился человек грудью вниз, закрывал себя накидкой от солнца и смотрел дно. Каждую ракушку вытаскивали, раскрывали, попадался жемчуг — клали за щеку, замаривали, не попадался — погибала ракушка зазря.

Хорошо плавалось.

В первый день добыл Заблоцкий всего три жемчужины, одну рогатую, другую — уродец, третью и того хуже — половинчатую.

А на четвертый день пофартило. Напали на россыпь. Больше двадцати окатных зерен попало. Да крупных! И Борис во рту замаривал, и Семен, целый день молчали. Замаривали жемчуг для цвета, потом клали в мокрую тряпку и на грудь.

Утром опять неудача пошла.

— Давай, Семен, ты, — попросил Борис, — попытай свое счастье.

Семен лег и сразу достал ракушку. Ракушка была

средняя, а вскрыли — ахнули. Великое зерно оказалось в ней.

— Вот оно какое, мое счастье, — засмеялся Дежнев. — Держи, Борис.

Тот головой покачал.

— Задаром не возьму. Знаешь, сколько такой жемчуг стоит?

— Да небось дорого.

— У окольного князя Алексея Михайловича Львова поменьше этого зерно видел, а платил за него князь пятнадцать рублей. Понял?

— Понял. Да все равно бери.

— А знаешь, какой у тебя в казаках оклад будет?

— Пять рублей в год.

— То-то и оно. Больших денег у меня теперь нет, но придем в Устюг, семь рублей тебе, Семен, пожалуй.

— Ну, пожалуйешь, так хорошо. Деньги всегда нужны.

— А с чего ты такой щедрый? — поинтересовался Борис внимательно.

— Ты ж ведь на крест жемчуг собираешь. Да и кто же счастье свое продает? Поймал-то я зерно на счастье.

— А ты, вижу, веришь в свою звезду?

— Верю, — признался. — Зачем и родиться было, если никакого прока от тебя. Оттого и в Сибирь иду. В Устюге-то у нас ходу нет, все места, от которых польза, заняты. А в Сибири и простому человеку пути не заказаны. Не плошай только, посматривай!

— От такой красоты люди убегают, — Борис развел руками по сторонам.

Стояли высокие леса над крутым, взломанным водой берегом, а другой берег, ласкаясь, обнимал речку серебряными ровными плесами. За плесами шевелилась кудрявая ива и шли благодные синие дуга. Каждый вечер опрокидывались они в небо, и плавали по небу медяные, в тихом ликовании зари.

— Бежал и я от этой красоты. Другой красоты хотел, мыслительной...

— К полякам, что ли?

— К всезнанию.

— За это и в Сибирь?

— За это в яму. Сибирь для меня — царская милость.

Молчали потом все утро.

— Твоего бы мне счастья, Семен, — сказал наконец Борис. — Да, говорят, чужому счастьем завидовать грешно, а своего на роду не написано.

Подарил Заблочный жемчужный самодельный крест прекрасной Василисе и еще маленько отсрочил поход. Решил плыть в воскресенье, по Сухоне, после праздничного молебна.

Василиса крест приняла и опять любила Бориса, а потом закапризничала вдруг, не подпустила к себе и приходиться не велела.

В ту ночь спать ему было невозможно. Теснило грудь, сушила горло духота. Борис не вытерпел и пошел на улицу.

Одежды на нем были легкие, а пернач все-таки прихватил.

Потянуло к Василисе. Захотелось по-мальчишески бросить камешком в окно, а то пробраться в дом бесшумно и поцеловать спящую. Он прошел пустынной улицей к знакомым воротам и вдруг услышал разговор. Встал в тень, затаился. Говорила женщина.

— Везде одинаково. Хоть куда беги, от себя не уйдешь. Везде бабы мужиков любят, а мужики по бабам страдают. Везде — бог один. Везде — у кого деньги, у того и власть. Голову потеряешь, а правды не найдешь. Ни в каких землях денег даровых нет и вовек не будет.

— Хватит, — сказал мужик, — моя судьба решенная.

— Господи, мука-то мне какая! Ну, хоть в последний раз полюби.

— Пусть барчук любит. Он по душе, гляжу.

— По душе, верно, — голос у женщины сорвался, — да ведь первую-то любовь не забыть.

— Забыла же!

— Забыла, — то ли засмеялась, то ли заплакала, — кабы моя воля... А теперь и моя, да времечко упущено. Пропади же ты, Сенька, пропадом.

Завозились вдруг, засопели, упало железное.

— Дура!

Женщина плакала.

— На память возьму, не позабыть чтобы.

— Сеня... На коленях, прости! Возьми крест. Святой он, матери моей.

— Не нужен мне от тебя крест, лучше уж это, — и вздохнул тяжело.

— Прощай!

Звякнули подковками о камни сапоги, замерли, вернулись.

— Давай-ка поцелуемся, что ли? Простим друг другу и любовь, и злобу, и всякую вину, и ножик твой.

Поцеловались трижды. Опять пошли к воротам сапоги.

— С любовью к тебе остаюсь! — И жалобно, как на жалейке: — Останешься, может?

И всепрощающе, жертвенно и величаво:

— Дорога — скатертью тебе! Бог тебя бережет на окяине, и на земле, и от стрелы, и от меча, и от глаза.

Не оглядываясь, шел Семен Дежнев к своему домишку, что приютился у Сухоны возле амбара Соловецкого монастыря.

Заблоцкий выждал, когда загремит засов в доме, таясь в тени, прокрался на другую улочку и там, передохнув наконец, тихо пошел на реку и до самого утра глядел, как в темной воде полощут золотые кресты бессчетные церкви Великого Устюга.

## ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА

Провожали «сибиряков» всем городом. Служили молебей в церкви Николая Чудотворца Гостенского. Казаки были одеты в дорожное платье, а горожане — в праздничное.

У причалов на серых волнах Сухоны покачивались дремотно большие ладьи.

Кончилась служба, повалил из церкви народ к пристани. Торжественно ударили колокола, чтобы в далеких землях сибирских помнилось землепроходцам домашнее свежее утро, желтый ветер над Сухоной, между порывами ласковое прикосновение солнца, чтобы помнилось им: провожали празднично, с надеждой на долгую жизнь, на веселое богатое возвращение.

Поплыли ладьи. Стояли в ладьях герои, великие мореплаватели, покорители просторов, гор, вечной зимы, стояли парни, ушедшие за сободем, а случаем и за вечным почетом, вечной памятью, благодарностью и не увядающим в веках удивлением. Пошли, пошли люди вслед за медлительными ладьями, пошли за город по высокому берегу и все обиды простили тем, кто не убоялся

полунощной холодной и неведомой страны, и полюбили всех, и запомнили всех, чтобы о самых удачливых рассказать внукам. И женщин простили, и пожалели, и возгордились смелостью их. Стояли они вдвоем, обнявшись, взмахивая робко платочками.

Землепроходцы были без шапок. В звезду свою верили. Но и знать знали — редкому из них выпадет счастье вернуться на этот обрывистый берег, лбом в святом трепетном поклоне коснуться зеленой земли, поцеловать ее, жесткую, и — кто знает — может, никому не суждено успокоиться под ее большими замечтавшимися березами.

До реки Юга не надевали шапок, а там пошли Двиной — и конец празднику. Начался долгий поход, началась казачья жизнь: с ладьи — на коня, с коня на коч\*, коч о камни — вдрызг, и пешком неведомо куда, неведомо где, с верой в землю, ради которой живота отцы не щадили, да и дети не щадят.

## ЗА КАМЕНЬ

В Верхотурье\* Бориса Заблоцкого встретили неласково.

Местное начальство засиделось, охамело на взятках. Заблоцкий был для них зряшный человек, без денег, без товара, да еще гонимый.

В те поры Верхотурье славилось. Каждый год проходило здесь за Камень человек тысячи по две, с товарами на шестьдесят, а то и на сто тысяч дорогих московских рублей.

Борис остановился в избе одинокого старика вместе с Семеном. В первый же день, пока Заблоцкий ходил по начальству, сделали его вещам тайный досмотр. Так ловко, что по всей избе раскидали нехитрое барахлишко.

Глянул на это Борис, от ярости ногами затопал. Кинулось было к начальству, а Семен его задержал.

Заблоцкий успокоился, но к воеводе пошел все-таки. Тот ему сказал не таясь:

— Велено было, вот и смотри. И не шебуршись, а то и от своей власти добавлю. Иди! Заслужишь у государя прощение, тогда ходи себе козырем, а пока — молчи уж!

До самого отъезда из Верхотурья не выходил Заблоцкий из дома. Лежал, в потолок смотрел.

Триста лет назад в сказании о стране сибирской дьяк Савва написал: «Сия убо страна полунощная; стоит же от России царствующего града Москвы во многих расстояний, яко до трию тысящ поприщ суть. Межи сих же государств российский и сибирские страны земли — облежит Камень, превысочайший зело, яко досязати верхом и холмом до облак небесных... Из сего же Камени реки многие истекоша, овие поидоша к российскому царству, овии же в сибирскую землю. И бысть реки пространны и прекрасны зело, в них же воды сладчайшие и рыбы различныя многие».

Прошел Заблоцкий тот Камень — Урал.

Долгий был путь, а Заблоцкий после Верхотурья не отходил сердцем, злой стал, драчливый, молчал.

В степях воевали с отрядами мунгальского Цысанаха\*.

Наскочила было татарва, да обожглась, думали, купцы, а напоролись на казаков. Кого из них постреляли, кто ушел, а одного татарина в плен взяли.

Заблоцкий велел казакам накормить его и не обижать.

Ночью Дежнева осторожно тронули за плечо. Он проснулся. Над ним склонился Заблоцкий, прижал палец к губам — тихо! Поманил за собой.

Они ушли в степь, подальше от бивака. Заблоцкий шел впереди. Наконец он остановился. Семен ждал, что будет дальше. Заблоцкий положил ему руки на плечи, посмотрел в глаза. И вдруг встал на колени.

— Не перед тобой винюсь, перед всей русской землей, перед всем народом. Коль можешь, и сам прости меня, грешного.

Догадка шевельнулась в душе у Семена. И Заблоцкий понял, что догадался Семен.

— Да. Ухожу. В Москве — тюрьма. В Верхотурье — досмотр. А в Сибири — и кнута прибьют. Хотелось когда-то в немецкие страны, ума-разума поднабраться — не судьба. В таинственный Китай попробую уйти. Страна древняя, мудрая, может быть, там для России нашей пользу сумею принести. Осудишь, Семен?

— Нет. Если нет места дома, где-нибудь все равно пустует твое.

— Спасибо! Просьба к тебе. Возьми это письмо. Случится, будешь в Москве, передай сестре моей, Марии Романовне. Почтой не шли, не дойдет.

— Да когда ж я в Москве-то буду?



— Может, и будешь когда. Мне-то ведь пути заказа-ны навечно.

Взял письмо Семен, положил на грудь.

Заплакали.

Сели на землю. Семен поднялся первым.

— Пора небось?

— Пора.

Заблоцкий тихо свистнул. Из недалеких кустов вывел человек двух лошадей. Семен угадал в нем татарина.

— С ним уходишь?

— Дорогу укажет. Прощай.

Обнялись трижды. Трижды поцеловались.

— Обмотай тряпками копыта, — сказал Семен.

— Сделано уже. Татарин толковый. Прощай, Семен.

— Прощай! Подожди ехать, дай мне в лагерь уйти.

Семен быстро пошел. Лег и долго вслушивался в степь. Так ничего и не услышал.

### ЛЮДИ, КОТОРЫХ НЕ ПОНЯТЬ

Всходило солнце, когда Борис добрался до Цысанхана. Молодой старик — борода седая, а лицо румяное, как у юноши, — привел Бориса в главный шатер.

Цысанхан возлежал на огромных подушках, а его великолепный живот подпирала золоченая скамеечка. Цысанхан смотрел на Бориса блестящими черными глазами и молчал.

Борис поклонился, но хап даже позу не переменял.

— Великий Цысанхан, — заговорил Борис по-татарски, — я пришел к тебе с открытым сердцем. Хочу приумножить славу и силу человека. Мне едино — русские или немцы, татары или китайцы пожнут плоды с моего дерева. Я прошу тебя, великий Цысанхан, уповая на твое великомудрие и щедрость, помочь мне добраться до ваших прекрасных городов, где верой и правдой послужи вашим народам.

Цысанхан что-то промычал, и тут же вбежали в шатер, согнувшись в три погибели, слуги и подали хану трубку.

— Он не слышит тебя, — сказал молодой старик Заблоцкому, — великий Цысанхан познает тайны вечного времени и пространства.

Только теперь Борис уловил приторный запах анаши \*. Борис вспыхнул, успел погасить гнев, но молодой старик все заметил.

— Тебя ждет Алли-Бэшэ, которого ты спас от плена. Твою прекрасную речь ты скажешь завтра. Она мне поправилась, я с удовольствием послушаю ее и второй раз.

Молодой старик говорил серьезно, но Борис видел: премьер-министр странного президента издевается.

Алли-Бэшэ закатил в честь Заблоцкого большой пир. Алли-Бэшэ был знатный и богатый человек, ближний родственник Цысанхана.

Борис притворился веселым, а мысли у него метались, словно волк в западне.

Все, что сделано, — сделано, все, что было, — было. Воротишься к своим — на цепь посадят, здесь тоже пощады не жди. Может, и доберешься до Китая, да будет ли кому рассказать об увиденных чудесах? Неужто пропала жизнь?

Борис потянулся за жирным куском баранины, стараясь не слушать чавканья и икоты.

Вечером он узнал, что мунгалы собираются разбить его отряд. Русские будут почевать на берегу реки. Ночью нападут на них с трех сторон, сбросят людей в воду, кто уцелеет — в рабы.

Борис стал нахваливать Алли-Бэшэ мунгальских лошадей. Алли-Бэшэ повел гостя в табун. Поймали двух прекрасных коней. На одного Алли-Бэшэ сел, на другого — Заблоцкий. Вокруг стояли воины, любовались лошадиной статью.

— Да превыше всего родной народ, — вдруг сказал Борис по-русски.

— Что? — спросил Алли-Бэшэ, улыбаясь.

— То, что сказал.

Борис наотмашь ударил его по затылку и выбрал из седла.

Осадил вздыбившуюся лошадь и помчался в степь. За ним погнались. Чуя, что внезапное нападение срывается, татары посадили в седла всех своих мужчин и на пятках у Заблоцкого пошли на русских.

Хорош был у Заблоцкого конь. Ушел, Влетел вихрем в русский лагерь.

— Казаки, к бою!

Вокруг него столпились было с оружием, но уже катилась по степи пыль, некогда было ни судить, ни спра-

шивать. Заблоцкий вырвал у кого-то саблю, крутился перед казаками, кричал:

— Коль нет места под своим солнцем, так хоть за своих — под чужим — голову сложить! Прощайте, ребята!

Помчался на мунгалов, сшибся с первым, снес ему голову, срубил на ходу второго, налетел на третьего. Тут кто-то из татар подскочил сбоку и проткнул грустного дворянина зубастым копьём. Отбили казаки атаку, прогнали татар, нашли тело Заблоцкого, похоронили.

— Чудной человек! — сказал кто-то. — К татарам бегал, татар и бил. За Русь кричал — и ей же изменил, изменил, а погиб за нее.

Так и остался Заблоцкий в памяти — чудным. А потом было у казаков много походов, много битв, много земель прошли, многие народы покорили. Забылся бой, забылся и Заблоцкий.

И Семен, может, тоже забыл бы, да лежало на груди заветное письмо — помнил он наказ дворянина.

## II. В СИБИРЬ

### КАБАРГА, ПОЕДАЮЩАЯ СМОЛУ

Семен Дежнев охотился на соболей.

Он вышел из распадины и остолбенел. В пяти шагах на низком суку сидел глухарь. Пытая судьбу, Семен стоял долго, и глухарь не улетал. «Коль глухарь не улетел, быть счастьем». У Семена полегчало в ногах, двинулся напрямик в тайгу, и тайга расступилась. Стояли перед Семеном три юрты, возле юрт олени. Бегали, покрикивая, встревоженные люди.

У Байаная рожала жена. Женщины расплели косы, были открыты все замки, развязали все узлы, а женщина не могла разродиться. Уже опускали ее руки в воду, уже расщепил Байанай ствол молодого дерева — не помогло.

Семен умел по-ихнему. Попросил показать роженицу. Его провели в юрту. Женщина устала и не могла даже кричать.

Семен снял с пояса сулею — походную свою бутылочку, открыл, поднес к губам роженицы. Она, искавшая спасения, пила воду, и вода эта была горячая, как пламя большого костра. Неожиданно и для себя самого Семен

отстранил сулею, потянулся к пищальке да как грохнул: в пологе клок выдрало, ахнула в ужасе женщина, и через минуту тоненько закричал родившийся мальчик.

Пришел к Байаная русский, пришло с русским счастье. Выжила молодая жена, родила жена охотника. Пошел Байанай в тайгу, убил дикого оленя — вернулась к Байаная сила. О Байаная говорили, что любила его девушка-богиня. Был он в юности самым удачливым охотником, делился добычей, а сколько ее было — ни разу не сказал. Говорили о Байаная: изменил он девушке-богине ради смертной девушки. В наказание ослабели руки у Байаная, ослабели ноги, не мог угнаться за дичью. Пали его быстрые олени. От стада осталось меньше, чем пальцев на руке.

А потом будут о Байаная говорить, что пришел к нему русский шаман, разорвал полог юрты, сквозь этот полог вылетели злые чары, и вернулись к Байаная богатство, сила и счастье.

В честь Семена был большой праздник. Собрались на праздник лесные люди. Танцевали танец журавля, танцевали танец дэрэдэ. Ходили по кругу, по солнцу. Сначала медленно, а потом — вихрем. Пели Семену свои песни, и он пел с ними:

В чащах березняковых  
Стало много животных,  
А в еловых местах  
Стало много зверей  
С железными крыльями,  
Подобно лету птицы,  
Мы и сами летаем,  
Прыгаем и летим,  
Побежим, и земля  
Не касается наших ног.  
Собравшись все вместе,  
Давайте ходить с песнями,  
Шагая подобно птице,  
Пойдемте вперед,  
Радуясь!

Три дня шел праздник, три дня мужчины не заходили в юрту к роженице. А потом пришло время мужчин. Байанай привел в юрту Семена, и маленькая веселая мать дала ему на руки своего голосистого сына.

Когда Семен уходил, Байанай пошел проводить его.

Он провожал его три дня. А на четвертый разбудил на заре и сказал:

— Нет у меня соболя, Семен. Вам, русским, соболя надо — нет у меня соболя. Возьми эту шкуру. Эта шкура великой кабарги. Видишь, шерсть на ней против шерсти растет. Рождена кабарга из дерева. Ест такая кабарга смолу. Кто владеет ее шкурой — тому счастье. Дичь сама последует за тобой, оленей заведешь, будут плодиться, как муравьи.

— Спасибо, — сказал Семен. — Принимаю твой подарок. Только в долгу мы не любим оставаться. Вот тебе нож. Запрещает наш царь давать вам железо\*! Да я тебе верю, не подымеешь ты этот нож против русского человека. А соболя будет, оставь для меня. У нас он в цене.

Постояли, глянули друг другу в глаза и разошлись.

Шел Семен, шкуру разглядывал. Она, конечно, басурманская, а все же волшебная. Глядишь, и правда сила в ней. Вдруг как бы толкнуло что-то. Семен за пицальку, а кусты ворочаются в пяти шагах — не успеть наладить. Семен за нож, а кусты разошлись — и осталась перед казаком девушка.

У Семена от страха руки опустились. И пицаль выпала, и нож, и волшебная шкура кабарги. Уж не богиня ли охоты, та, которая любила Байаная, вышла к нему? Красоты удивительной, за плечами лук, одежда расшита узорами. Стоит Семен как вкопанный, а богиня вдруг поклонилась.

— Русский, возьми меня! — говорит по-ихнему, смотрит прямо. Так и есть — на богиню нарвался. Похолодел Семен, смекает: хоть девушка она красивая, хоть и богатство приносит, да ведь годов у нее нет, на всю жизнь молодая, некрещеная к тому же, вечная баба!

— Русский, возьми меня!

— Куда?

— В жены. У тебя есть жена?

— Что спрашивать-то? Небось сама знаешь. Нет у меня жены, — по-русски сказал.

Девушка головой качает: не понимаю.

— Ты что ж, хоть и богиня, а по-нашему не знаешь?

— Я — Сичю. Я три дня иду по твоим следам.

Семена кашель пробил.

— Постой. Я ж тебя у Байаная видел!

— Я сестра Байаная.

Рассердился Семен.

— Хоть ты и красивая баба, хоть и мало у нас баб, не возьму тебя. Как же тебя возьму, если Байанай — мой друг? Подумает, что увел тебя.

Сичю глаза опустила. Слов не понимает, а видит, что сердится русский.

— Пошли!

И повел ее Семен обратно, к Байаная.

Ай, как пасмурно было на душе! Хороша Абакаяда Сичю, и ведь не так это, неспроста пошла за русским, тут бы любить ее, хозяйством обзавестись. Пришла сама, любит, значит, взятки гладки. А все равно не хочется, чтоб Байанай плохо о русских думал. И так слава о них — никуда.

Два дня шли молча. Молча ели, молча грелись у костра, молча укладывались спать друг подле друга. Сичю была ловкая, за что ни бралась, все у нее выходило складно, и Семен, оглядывая женщину, уже прикидывал, какой калым запросит Байанай и что он, Семен, может дать ему.

К вечеру второго дня вдруг вспомнил о нечистой силе, которая никогда не дремлет в погоне за православными душами. Мысленно ахнув, Семен поотстал, пропуская Абакаяду Сичю вперед. Творил молитву и крестил Абакаяду со страхом — вдруг рассыплется оборотень мелким огнем — и с надеждой, что женщина останется женщиной.

Сичю не рассыпалась, а, наоборот, поманила Семена за собой, сойдя с тропы.

Привела его к кулеме. У корневища тысячелетнего кедра — клетка. Сверху дощечками закрыта от снега. У входа, задавленный бревном, с приманкой в зубах, а приманка на веревочке, лежал распрекрасный соболь.

— Твой, — сказала Сичю. — Кулема\* — моя. Соболь — твой.

Сгрел Семен маленькую Сичю, поднял да и поцеловал. Она испугалась, а потом устроилась поудобнее на руках и за бороду Семена подергала.

Дело с Байанаем сладили весело. За Абакаяду Сичю дал Семен калыму медный котел да топор, а Сичю по дороге на Ленский острог добыла мужу еще двух соболей, да одного Семен добыл.

В покупочной книге атамана Галкина появилась в том году запись: «Куплено у служилого человека, у Семейки Дежнева, четыре соболя без хвостов, дано государевой муки двадцать семь безмен»\*.

## ПАДЕНИЕ ПАРФЕНА ХОДЫРЕВА

Была почь, а над Ленским острогом \* стояла тишина, какой уже не случается на земле. Даже собакам брехать было не на кого.

А тишина стояла от беспокойства, не от благодати. Таились люди по домам, подолгу стояли на коленях перед образами, сплетались бородами над столом, нашептывая друг другу вести сказочные, выдуманные бог весть кем.

Заложил Ленский острог восемь лет назад, в 1632 году, стрелецкий сотник Петр Бекетов \*. Через пару лет для промысла соболя в Ленском остроге собралось человек с двести, через восемь — промышленников было три тысячи.

За свои пять рублей да за соляное и хлебное жалованье — за пять четвертей \* ржи, четыре четверти овса, за полтора пуда соли в год — казаки руки сложа не сидели.

В 33-м году атаман Галкин \* отпустил вниз на Вилюй Михаила Стадухина \* с товарищами, и тот покориł тунгусские племена.

Другие казаки построили Жиганск на реке Лене и оттуда ходили на Яну и на Индигирку \* — Собачью реку.

Уже шел в поход Иван Москвитин \*. Ему первому из русских суждено было выйти к Великому океану на берег Охотского моря.

Москва, озадаченная покоренными просторами, удивленная бесчисленной соболиной казной, идущей из этих просторов, объявила новое якутское воеводство \*, и поехали на Лену первые ее воеводы. Вместе с воеводами отправились триста сорок пять казаков, и ехали на воеводство воеводы три года.

Чем ближе подходили обозы, тем крикливей бывали дни в Ленском остроге и таинственней ночи.

А пока всеми ленскими делами заправлял боярский сын Парфен Ходырев \*. Ждал воевод, побаивался. Позвал однажды к себе домой Михаила Стадухина и Юрия Селиверстова \*.

Угощал Ходырев хорошо, хотелось ему в разговоре выведать, что думают о нем знатные казаки, не покажут ли против перед воеводами. Был Ходырев низок ростом, а в дверь протискивался боком, из железного мяса был да из широкой кости.

Затравив маленько хмельным, предложил игру: кто

кого перепьет. Чару пить в один дых, встать, положить крест — тогда уже и закусывай.

Чтоб не просто пить, а с интересом, поставили на кон по соболу.

Четыре чары Михаил Стадухин пил со всеми, пятую отодвинул.

— Все? — удивился Парфен.

— Не идет больше.

Селиверстов захохотал, а Парфен глаз сощурил.

— Суд вам буду творить, — сказал Михаил, не отводя перед Парфеном взгляда, — не бойся, по чести рас-сужу.

— А мы и не боимся, — усмехнулся Парфен, поглаживая мех стадухинского соболя. — Выпью, вот и пропал соболишко-то.

— Пропал, — согласился Михаил. — Зазря понадеялся на себя. С сильными тягаться вздумал.

— Не надо тягаться с сильными, Михаил.

Сказал многозначительно, выпил чару, встал, перекрестился, сел. Селиверстов тоже выпил.

— Нам бы. Михаил, с тобой подружить надо. Хороший бы из тебя купец вышел. Весь ты в своего дядю, а Василий Гусельников \* даже на Москве большой человек.

Селиверстов выпил шестую чару, Парфен не отстал.

— Василий Гусельников купец, а мы с тобой не купцы? Ну, какой ты казак, Михаил? Ты купец. Ты умеешь дела вести.

— Я казак, Парфен. Я ни от какой службы не бегал, а коль дела хорошо идут, так на это божья воля.

Глянул на Селиверстова. Тот выпил седьмую чару и сразу же восьмую. Ходырев опять не отстал.

— Значит, не хочешь с приказчиком Ленской земли дружить?

— Хочу.

— Так чего ж петушишься-то? Купец, и все.

— Чтоб купцом быть, деньги нужны. А у меня их, Парфен, сам знаешь — кот наплакал.

— Врешь! А не врешь — у меня бери. Я разве тебе могу отказать, Михаил?

По девятой выпили.

— А что, может, и вправду дашь?

— Э-э-э-э! — засмеялся Парфен. И стал серьезным. — Дам! Договоримся с тобой кой про что, и дам за милую



душу! Смотри, смотри, клюет носом дружок твой. Пропал и его соболишко. Эй ты, гляди!

Парфен встал, выпил чару в один дых, сел и расхлябанно помахал рукой вокруг живота своего.

— Крест, крест клади! — потребовал Стадухин.

Парфен собрался и положил крест твердо.

— Ты думаешь, я пьяный?

— Нет, — сказал Михаил, — ты не пьяный, а вот денег, которыми хвастаешь, у тебя нет.

— Есть.

Встал, подошел к сундучку, открыл, вытащил бумаги.

— Видишь? Долговые кабалы\*. Целый день будешь считать. Только этого на четыре тыщи.

— Пью! — закричал Селиверстов.

Выпил и опять закричал:

— Пью!

Выпил, встал и рухнул мимо скамьи.

— На две чары тебя обошел.

Парфен засмеялся. Убрал бумаги, запер сундучок, трезво, с насмешкой посматривая на Стадухина, подошел к столу и одну за другой сам себе наливая, хлестанул три чары.

— Твоя! — ахнул Стадухин. — Крепок ты, Парфен, и зело. За тебя хочю выпить, с тобой.

Выпили, и Парфен уснул, повалившись головой в блюдо. Михаил взял его за шиворот, глянул в безжизненное лицо, толкнул презрительно опять же в блюдо.

Абакаядя Сичю просыпалась раньше Семена. Она лежала во тьме и слушала его сон. Бог весть, каким чувством знала она, сколько еще Семену спать, и если знала, что сон прервется не скоро, выскальзывала из-под одеяла и уходила в угол избы, на шкуры: так спали якуты.

Случалось, что Семен заставлял ее на полу. Он ложился рядом и, когда она просыпалась, ласкал. Она была счастлива, что Семен ее не ругает, и горячо принималась расспрашивать про далекую русскую землю, веруя, что на этот раз все поймет и что теперь уже воля якутских богов не заманит ее на шкуры.

Сичю обнимала Семена и все спрашивала:

— Семен, а какая твоя земля?

Семен улыбался и говорил, как ребенку:

— Земля такая же: у вас — деревья, у нас — деревья. У вас — трава, у нас — трава.

— А цветы другие. Ты говорил.

— Цветы другие.

— Оленей нет! — подсказывала Сичю.

— Оленей нет, лоси есть.

— А конца-краю нет твоей земле?

— Конца-краю у нашей земли нет. Одних рек не меньше тыщи.

Стукнули в окно. Сичю в испуге прижалась к Семену. Тот оторвал ее от себя, глянул.

— На службу зовут чевой-то.

Весть была невеселая: тайон\* Сахей убил двух казаков, посланных собирать ясак\*. Крикнул эту весть на утреннем крыльце свежий, словно всю ночь спал, Михаил Стадухин. Кровь ударила Семену в голову. Дружков порубил Сахей. Ефима Зипунка да Федота Шиврина. Ослепленный, будто кипятком шваркнули по ногам, бросился Семен к бане, где со вчерашнего дня сидел якут. Якут привез дань, но на свою голову прибыл к русским без единого соболя.

Барахлишко его казаки вчера растащили, а за то, что соболя не привез, побили маленько, но не сильно. Заморенный был якут, пожалели. Собирались утром отпустить, а тут весть о Сахее.

При Семене был шестопер. Одним ударом сбил замок с двери. Влез в баню, поднял за шиворот проснувшегося от ужаса якута и выкинул в толпу, казакам под ноги. Уж чем там били — не разобрать. Оставили на снегу ключья рваных шкур да кровавую проталину.

Распалила пролитая кровь: вспомнили казаки о Ходыреве. Два года не получали казаки хлебного жалованья, половину денежного оклада зажал приказчик. Все у него в долгу, у каждого на него зуб.

Пошли к амбарам.

Верный человек, пока убивали якута, добежал до Ходырева, едва растолкал.

Унимая боль в голове, вышел Ходырев двойного вина, квасу ледяного — и к амбарам. Возле амбаров стояли верные Ходыреву люди. Пищали заряжены, даже затинные.

Выступил Ходырев перед своим войском, на казаков рукой махнул.

Замолчали.

— Подобрю разойдись! В амбарах не мое добро, царское. Шевельну мизинцем, башки ваши — долой!

Вышел из казачьей толпы целовальник\*:

— Открой, Парфен, амбары. Яви соболей, которых утаил от царя нашего.

Ходырев зашел за свое войско, вытащил саблю.

— Кому помереть охота, иди!

И саблю над головой.

Попятились казаки.

Прошла у Семена злоба, и стал у него перед глазами растерзанный якут. Побежал Семен в тихую часовенку, в ней всего-то один человек уместится.

Вдарился перед образами, просил у заступницы милости, бил поклоны несчетно, аж в глазах потемнело.

Здесь его и разыскали.

— Стадухин спешно зовет. Беги к съезжей избе\*.

В съезжей избе казаков набралось человек двадцать. Опять бунтовали. Парфен Ходырев решил показать власть — схватил троих бунтовщиков, запер в своем доме, бил кнутом и поднимал на дыбу.

Стадухин встретил Дежнева приветливо:

— Все вот недосуг повидаться с тобой. Земляки ведь?

— Земляки.

— Вот и хорошо. Для пира не было времени, а в беде земляк за земляка стеной должен стоять. Так ведь?

— Да так оно!

— Ну и хорошо.

Подождали еще казаков, пошли на Ходырева. Выручили всех троих. Ходырев грозил Стадухину карами небесными и земными, но явилось уже все ленское начальство, сотники, целовальник. Стадухин и Селиверстов крикнули, чтобы сделать обыск в доме приказчика. Обыск сделали. Долговой кабалы обнаружили на 4156 рублей. Вызнали, что присвоил себе Парфен больше трех тысяч соболиных шкур.

Собрал Парфен обоз и, не подпустив никого к награбленному, отправился из Якутска. Летом на Ленском волеке воевода Головин арестовал лихого приказчика.

Кончилась власть Парфена Ходырева.

А к тайону Сахею еще одного казака посылали, опытного Ивана Метленка. Сахей Метленка убил. И послали к нему тогда Дежнева.

Семена уже заприметили. Ездил он мирить батурских якутов с мегинскими \*, те друг у друга воровали скот и воевали беспощадно. Семен якутов помирил. И задал тогда ему атаман Галкин Сахееву задачу. Живота на этом деле можно было лишиться очень даже легко, но Семен службу нес исправно и перечить атаману не стал.

## ПОСОЛ

Тайон Сахей ждал шамана Дуруна. Сахей был молод и злобен, как тысяча волков. Три года назад чихнул ему в лицо олень, и удачи как не бывало. В тот год с тайонами Откураем и Базеком подступили они к Ленскому острогу \*. Борогинский князец Логуй, свой же, якут, уговаривал их не идти на русских, но они пошли: загнали русских в крепость, морили голодом, а победить не смогли.

Откурай и Базек — сыновья великого тайона Тыгана — не великие тайоны.

Тыган до самой смерти не покорился русским, а Откурай и Базек платят ясак! Когда надо было выбирать свободу и смерть или жизнь и покорность, они выбрали унижение. Они отступили от Ленского острога, а атаман Галкин сам пошел на якутские острожки. Якутские острожки за двумя ледяными стенами, но один острожек Галкин взял и убил пятьдесят якутов.

И все — бетунцы и конгалассцы, намцы, мегинцы и одейцы, — все заплатили ясак.

Сахей был воин. Он не покорился. Он бежал в Оргутцкую волость и убивал всех русских послов. Сахей был свободен, как птица, а удачи ему не было. У него угнали двадцать коров, у него умерла любимая юная жена: шаман Дурун плохо отгонял злых духов.

Сахей ждал Дуруна. От нетерпения ломило голову: Сахей глотал лисий жир — лучшее лекарство, а боль не затихала.

Дурун пришел осторожный, как рысь. Сразу же понесли угощения.

Так пышно Сахей никогда и никого не принимал — Дурун поставил уши торчком.

— Расскажи мне про Эллея, — сказал вдруг тайон.

— У меня есть другая сказка. Логуй прислал гонца. К тебе едет русский. Логуй просил тебя быть твердым. Убей.

Тайон захохотал.

Сначала тихо, потом развалиясь на полу и перекаты-  
ваясь с места на место.

Отер потное лицо, подполз на четвереньках к Дуруну  
и, как собака, снизу заглянул ему в лицо.

— Скажи мне, Дурун, должен ли я послушать Логуй?

— Когда говорит враг, его надо слушать, а потом сде-  
лать наоборот.

Сахей встал.

— Ты плохой мудрец, Дурун. Логуй хочет соболями  
платить за спокойную жизнь. Логуй знает, что я нена-  
вижу его. Он знает, что я слушаю его советы и делаю на-  
оборот. Логуй стал слабоват умом. Я его разгадал.

— Ты убьешь русского?

— Тебе, Дурун, не суждено знать это. Дурун, у якутов  
нет великого тайона. Логуй хитер, как весенняя река, но  
он никогда не был воином. Я — воин, но меня боятся.  
Тайоны не дадут мне быть выше их. Я ждал от моей  
юной жены богатыря. Ты не спас ее, Дурун. Что же ты  
наделал, Дурун?

Сахей заплакал. Лег и, плача, не спуская с шамана  
глаз, пополз к нему, простирая то одну, то другую руку.

Никогда Дурун не видел тайона в таком унижении.  
Мысль о том, что Сахей сломлен, что пора прибрать его  
к рукам, заиграла и споткнулась. «Тебе, Дурун, не суж-  
дено знать это»? Угроза?

Сахей положил голову на колени шаману, рыдал.

Дурун улыбнулся свысока, как бог, и в тот же миг  
прямой русский нож вошел ему снизу в живот и легко,  
не грубо, покатылся к груди.

Дурун хотел закричать, но не хватило воздуха.

Ночью тайон молился своему деревянному хранителю.  
Он кормил его лучшими кусками, мазал всеми жирами,  
какие только были в доме. А потом взял его и пошел с  
ним на реку. Он посадил его в лодку и опять щедро кор-  
мил и напоследок сунул в рот лепешку. Потом сделал  
вид, что нечаянно толкнул лодку, и она тихонько поплы-  
ла, унося деревянного бога, который не оправдал надежд.

Семен Дежнев, посол атамана Галкина, сидел возле  
потухшего костра и мазал углем лицо. Вымазавшись пре-  
достаточно, он явился к тайону Сахею, который был удив-  
лен видом русского посла и его слезами.

— Кто причинил горе тебе? — спросил Сахей. — Или ты оплакиваешь свою жизнь, ибо никто из русских не ушел отсюда.

— Я сам пошел к тебе, Сахей, — ответил Дежнев. — Кто-то должен был идти, и я пошел. Я оплакиваю не свою жизнь. Я оплакиваю смерть твоей молодой жены. Я женат на якутке Абакаяде Сичю и знаю, как прекрасны женщины твоего народа. Смерть женщины — это не смерть мужчины. Женщины приносят нам детей. И я опечален твоим горем: жена твоя не успела родить тебе охотника.

— Воина! — закричал Сахей.

— Охотника, — возразил Дежнев. — Слишком много крови проливает твой народ в бесполезных войнах. Если бы я был воеводой, ни один волос не упал бы с головы охотников.

— Еще бы, вам подавай соболей!

— Все мы кому-то служим, тайон Сахей. Якуты рыщут по лесам, чтобы убить соболя и уплатить нам ясак. Я, как волк, хожу по земле и приискиваю землицы, чтобы угодить своему царю. А все цари служат богу.

— Тебе не понять нас, но ты не глуп, — сказал Сахей и пригласил Дежнева в дом. — Мой враг Логуй прислал гонца с просьбой, чтобы я убил тебя. Он предал вас!

— Логуй хочет мира. Я сам просил тайона Логуя послать к тебе гонца. Я надеялся, что ты поступишь наперекор желаниям своего врага.

— Я разгадал его. Я только думал, что это сам Логуй пошел на хитрость.

— Ты мудр, тайон Сахей. Если бы у якутов все тайоны были такие же, как ты, нам бы пришлось плохо.

— Если бы все тайоны якутов были такие, как я, русский царь платил бы нам ясак.

— Так бы оно и было, Сахей. Только до русского царя по его земле нужно идти два года.

— Это на моих-то лошадях! С моими-то воинами!

— Ты прав, тайон Сахей. На твоих лошадях, с твоими воинами до русского царя можно дойти за полтора года.

Сахей помрачнел.

— Я знаю, что у вас есть пищали величиной с лошадь. Нас мало, чтобы победить бесчисленных воинов русского царя. Мы на него не нападали, зачем он послал вас сюда? Зачем ему столько земли, если из конца в конец ее идут два года?

— Воля божья!

— Что послал сказать мне приказчик Парфен Ходырев?

— Меня послал атаман Галкин тебе сказать, что приказчик Парфен Ходырев сидит в тюрьме. До нашего царя дошло, как притеснял Парфен Ходырев якутский народ, и царь сместил его. Мне велено сказать тебе, что все твои прегрешения прощаются. Я привез подарки.

— Покажи!

Дежнев сходил к лошадям, принес тюк красной материи, пять шапок, спитых из разноцветных лоскутов, маленький медный котел, наполненный голубыми бусами.

Сахей, черная пригоршнями бусы, прищелкивал языком.

— Иди, — сказал он наконец, — тебе укажут дом. Я буду думать.

А все уже было ясно. Настала пора покориться. Чуть еще промедлишь, придет атаман Галкин вместе с Логуем да с тем же Откураем, вырежут весь род, не пощадив детей, а женщин растащат.

Три дня думал тайон Сахей. Так говорили Дежневу. А Дежнев знал, что Сахей ест сушеные мухоморы \* и пьяный колотит слуг.

Через три дня Дежневу принесли три сорока двадцать соболей, то есть с каждого мужчины по соболю. Было в роду Сахейя сто сорок мужчин.

## ЛАМУТЫ

И верилось и не верилось: ехал домой от страшного Сахейя целехонек, вез богатый ясак. Прикидывал: теперь то не забудут небось ни дьяки, ни атаманы. Удастся, глядишь, свое дело завести. Пошлют на выгодную службу, а там не плошай. Не сплошаешь, соболю будет, деньги будут, товары будут.

В Якутске Василий Поярков \* набирал два отряда на Яну и на Индигирку. На Индигирку вел казаков Посник Иванов; Дмитрий Михайлов Зырян \* шел на Яну. Дежнев ударил челом, и хотя охочих людей было сверх меры, а посылали всего тридцать человек, по пятнадцать в отряде, его не забыли. Попал Семен к Зыряну.

Уже лег снег. Отряд уходил через неделю, зимней дорогой, а у Семена все еще не было снаряжения. Зырян пришел к нему домой узнать, в чем дело, и узнал: Семен искал в долг деньги на покупку двух лошадей, платья и обуви. Зырян крепко заругал казака: чего мол-

чал? — и дал взаймы. Вместе ходили на базар, а на якутском базаре стоило все в десять раз дороже против московского. За двух лошадей заплатил Семен якутскому тайону восемьдесят пять рублей.

Отправились в поход спозаранку, при утренних звездах. Грубовато отрывали от себя жен, горячили коней, чтобы скорее осталось позади теплое нестрашное житье и началась бы казачья жизнь. Ехали, окликали задиристо друг друга, а потом, когда острог остался далеко, притихли, понурились, а кто попросту задремал.

На Семена напал вдруг божий страх. Куда, господи, опять несло? Что от него хочет господь? Где суждено прославить имя его? Где суждено положить голову?

Не в этих ли снежных краях, куда ни одному ветерочку не добежать с родной стороны, ни одному-то облаку не доплыть.

Помилуй мя, господи!  
Господи, помилуй меня!

Трудно перевалили горы.

Когда спустились в долину, увидели большой отряд ламутов\* на оленьих упряжках. Ждали русских в педобром молчании. Казаки тоже примолкли, поглядывали в спину Зыряну. Он ехал первым, важно, без страха. Артем Шестаков не выдержал:

— Дмитрий, чего молчишь? Ветер-то в нашу сторону. Место выбрали косоглазые в самый раз. Из луков удобно бить.

— Не бойсь! Поглядим, у кого душа крепче. А как кто из них стрельнет, ты, Артюшка, из пицальки давай. Приготовь пока да пороху насыпь поболее, для громкости.

Расстояние между отрядами сокращалось. В одном — пятнадцать человек, в другом — не меньше сотни. Уже было ясно, ламуты мира не хотят, не хотят пустить на свою землю усатых людей.

Хороший охотник еще не воин. Не хватило терпения у ламутов, загалдели, пустили по ветру пока что безвредные стрелы — ни одна до казаков не долетела.

— Пали, — сказал Зырян, осадив коня.

Шестаков спешился, вышел перед отрядом, установил пицальку и бабахнул. Стрелять было тоже бесполезно, далеко, но ламутов как ветром сдуло. Только снежный вихрь заметался по белой равнине.

От смеха казаки попадали с лошадей.



Зырян сказал им:

— Они не знают нашего боя, и пусть подольше не привыкнут к нему. Где миром будут встречать, там пиццелей и пистолей не показывать.

Вечером того же дня отряд Зыряна вошел в якутский острожек. Казаков здесь встретили с надеждой.

Лихой тайон Нирагай увел у здешних якутов почти весь скот. Зыряну принесли триста сорок соболей да черно-бурых лис две, хороших; московского царя признали своим, но просили защитит от Нирагай.

Зырян послал половину отряда с Дежневым в погоню за разбойным тайоном.

Якуты указали дорогу, и на третий день Семен настиг Нирагай.

Воевать не пришлось. Нирагай знал: русским служат огненные духи. Тайон сначала прислал ясак соболями, а потом и сам явился.

— Я хочу мира с тобой, — сказал Дежнев.

— Мир — это лучшее из того, что дали боги людям, — ответил Нирагай.

— Русские пришли на землю твоих отцов с миром. Мы дадим вам то, чего нет у вас, но что обрадует ваши сердца: одежду, бусы, железо.

— Большое войско убивает маленькое, большой лось затопчет волчонка, твой большой народ хочет мира. Я кланяюсь твоему царю. Что ты еще хочешь?

— Я хочу, чтобы якуты не обижали якутов.

— Я верну скот братьям моим. Чего еще?

— Я хочу, чтобы ты пошел со мной и сам бы вернул скот.

— Я иду с тобой. Пусть будет мир на земле якутов. Пусть гремят бубны добрых шаманов. Пусть будет праздник. Пусть летит к небу не грозный крик войны, пусть летит к небу песня.

И был праздник, и были песни.

Казаки подзадорили Семена вступить в состязание с якутами: кто быстрее разделает оленя. Дело это требовало сноровки. Ни рубить, ни резать оленя было нельзя, ни одной косточки нельзя было сломать — все это грех, удача убежит, охоты не будет.

Ножом действовали только в самом начале, разрезали шкуру от горла до паха и в стороны от паха, а потом работали кулаками. Кожу Семен ободрал первым, а вот разбирать оленя по косточкам было ему не по нутру. Заторопился, засуетился, и обогнали его якуты. Но хоть

и проиграл Семен состязание, а праздник еще веселей пошел. Были рады якуты, что их законы русские знают и уважают. Угостили Семена самым большим лакомством — сырым мозгом из ног.

Зыряну губы поднесли, тоже лакомство.

Много было мяса. Все были сыты. Весь народ в тот день был сыт.

А русских даже квашеной рыбой потчевали. Квасили рыбу летом, в ямах, обложенных лиственничной корой. Ели такую рыбу зимой. И русским пришлось она по вкусу.

Праздники кончились, началась жизнь. Щедрые стали жадными, добрые — жестокими, люди остались людьми.

Откочевал Нирагай. Казаки поставили зимовье. Обнесли зимовье тыном. Якутов башенка впечатляла.

Обжившись, занялись казаки торговлей. Семен с Шестаковым ездили в дальний городок и вернулись при многих соболях. Семен заплатил Зыряну долг и все равно остался при выгоде.

Что Семен, что Шестаков — мужики хитрые. Поехали продавать голубые бусы да тайком прихватили разные железа. Торговать железом царский указ запрещал строго-настрога. Да Зырян, знавший казачью бедность, будто бы и не заметил ничего. В конце концов, торговали казаки железом на свою же голову. Не костяными, а железными уже стрелами воевали с ним олени да собачьи ясачные мужики.

Торг прошел быстро, без насилия.

Местный тайон сторговал у Семена медный котел. Котел был средний, ведра на три. Семен запросил обычную цену: набить котел соболями с верхом. А за сверх обещал дать надбавку: тайоновым женам голубого бисеру по горсти. Против такой русской щедрости тайон не устоял: купил котел за тридцать соболей да еще четыре горсти бисеру получил.

Шестаков тоже выгодно товарец сбыв: продал топор за десять соболей да железный прут в три чети — за пятнадцать соболей. И все были довольны — и русские прибыльной весьма торговлей, и якуты.

Затевали якуты дело большое, и железа и меди надобно им было много.

Весна стояла уже за горами, и пока не вскрылись реки, Зырян послал Семена Дежнева с собольиной казной в Якутск. Дал ему в товарищи трех казаков.

Шли, торопились, а миновать беды не пришлось.

Мелькнул привидением на сопке ламут. Оставил после себя лыжный след. Тревожно стало. Может, случайный какой, а может, дозорный. Может, испугался, а может, побежал своих звать сюда.

Спали теперь со сторожем. Трое спят, четвертый ночь слушает.

И услышал на какой-то уж день сторожевой Артемий Шестаков вроде бы скрип. Послушал еще, аж наморщился весь, — тишина. Только взяла его жуть, и небось с десятков раз отбарабанил он «Отче наш» и «Богородицу». Успокоился было — и опять скрип.

Шестаков, чтобы не спугнуть скрипуна, бочком забрался в походную юрточку, тихо затормошил казаков.

— Мужики, вставай!

— Что? — спросил Дежнев.

— Семен, окружают нас будто.

Дежнев вскочил.

— Тихо! — осадил его Шестаков.

— Пищали приготавливай, — скомандовал Дежнев шепотом, окончательно проснувшись и понимая, что Артемий прав.

По одному выползли из юрты, засели с четырех сторон, изготовились.

В ту ночную пору на север, на юг, на восток и запад, в каждую сторону на тысячу верст доживала век ледовая тишина.

Скрип — и ни звука.

Скрип. И страшно: не зверь ступает на снег, люди ползут.

И когда задышало где-то близко и, легко трогая землю, метнулось к юрте, гаркнул Дежнев:

— Пали, ребята!

Четыре молнии поразили четыре части света. Ночь заревела от боли, от смерти, от неизвестности. И побежали, побежали. И только близко орал и захлебывался в сугробах раненый человек.

— Мучится-то как, прости господи! — пожалел Шестаков.

— Добить надо! — сказал Дежнев. Промолчали ка-

заки. Семен поправил рукавицу, покрутил на ремешке шестопер.

— Ну его, пусть орет. В засаду попадешь! — засуетился Нефед.

— Какое там! Сто верст будут теперь драпать.

Дежнев пошел на крик, и скоро там смолкло все.

— Кому дежурить? — спросил он, возвращаясь.

— Мой черед не вышел, — откликнулся Шестаков.

Семен приказал:

— Ложись все. До утра спокойно будет.

Забрались в юрту.

— Этот-то как? — спросил Нефед.

— А так! — сердито рякнул Дежнев.

Спали безмятежно. Проспали зарю. Натопили снегу, сварили кашу, поели. До полудня ехали одни. Ламутов было не видно, у казаков лопалось терпение: когда опасность в двух шагах, уже не страшно, страшно, когда знаешь, что нападут, и не нападают.

В полдень пожаловали. Сначала замаячили впереди, но на сближение не шли, уходили, будто заманивали. Потом и позади объявились. Отряд густой, быстрый.

— Что будем делать? — спросили у Дежнева.

— А что нам делать? Казну государеву везти в Ленский острог.

Прошли еще верст десять. Возле горных отрогов передний край развернулся и пошел на казаков.

— Голо-то как! — затосковал Нефед. — Спиной опереться не на что.

Шестаков оскалился:

— Зато видней.

Спешились казаки. Приготовились к бою.

Ламуты то сжимали кольцо, то опять отходили. Завизжали вдруг, поскакали и, близко не подойдя, откатились.

— Хотят узнать, что ли, как далеко пищали бьют? — спросил Шестаков товарищей.

Семен из саадака достал лук и стрелу.

— На ихний бой ихним боем отвечу.

Когда ламуты опять побежали на русских, когда пустили костяные стрелы, Дежнев встал в изготовку и послал свою железную стрелу. Угодил в задние ряды, в шею старого воина, и тот закричал так же страшно и жалобно, как вчерашний. Ламуты повернули, утащили старика.

Ближе они так и не подошли.

Наступила ночь.

— Давайте уходить в горы! — приказал Семен. — Утром пробиться будет тяжело. Ты, Нефед, пойдешь первым, а ты, Артемий, прикрой. Ты, Нефед, как кто зашевелится — пали, и ты, Артемий, как кто зашевелится — пали.

Снялись, как цыгане на промысле, без единого звука. Никто не мешал, даже звезды. Ночь стояла облачная. Двигались ощупью, проваливаясь в глубокий снег. Добрались до гор. Осилили одну сопку, и сморил их безудержный сон.

Утром ламуты увидели, что русских и след простыл. Бросились в погоню. Самые быстрые, человек сорок, догнали Семена. Место Дежнев выбрал удобное: русские сидели на вершине.

— Чуешь, — сказал Шестаков, когда отбили вторую волну. — Привыкли к нашему бою.

— А что ты думал? Из них казаки были бы не хуже нас с тобой, — ответил Семен и вдруг охнул. В правую ногу, в икру, впилась стрела.

— Окружили! — заорал Нефед.

На соседней близкой сопочке стояло человек с десятков ламутов. Самый большой из них, заметив, что русский ранен, прыгал и кричал. Семен развернулся к нему грудью, ламут снова натягивал тетиву. Семен выстрелил и вскрикнул от боли, словно его же пицаль ударила по его же ногам.

Ламут с развороченной грудью лежал на снегу бездыханно. У Семена под коленом торчала вторая пернатая стрела.

Видно, убил Семен тайона. Застонали ламуты, подхватили убитого под руки, побежали.

Шестаков перевязал Семену раненую ногу. И пошли, поехали в белые снега, которым ни конца нет, ни краю.

В Ленском остроге Дежнева ждали новости.

## ДОМА КАЗАК

Родился человек, а судьба ему местечко уже приготовила. Родился у боярина — боярином быть, у купца — купцом, крестьянскому сыну — спину гнуть.

Так бы и скрипела телега вечно, да по дороге вышибают сторонние сучья старые спицы.

Ах, молодец Семен Иванович!

Подошел к Якутску вечером. До города рукой подать. Жена ждет, еда — с неделю тянул на голодном, постель

теплая, баня с веничком, с ледяным квасом, а он остановился спать на треклятом снегу.

Явился под стены к заутрене, когда валил к церкви народ и звонили колокола. Как увидели звонари, что возвращается из похода казак, ударили по-праздничному, а люди замешкались на улицах, чтобы встретить удачливого товарища...

Молодец Семен Иванович! Дивились дружки его сметке. Сошел с коня возле церкви — и на святую молитву. Стоял в своих шкурах, с оружием впереди всех, рядом с воеводами. Первый после воевод Петра Петровича Головина да Матвея Богдановича Глебова подошел под благословение.

Мало ли казаков возвращалось с удачей, а тут сами воеводы спрашивали у Семена о делах, дарили по рублю да алтын на шапку, чтоб видели люди: заслуженный человек перед царем и Россией.

Абакаяда Сичю — солнышко широконосое — встретила Семена Ивановича сыном.

Два дня не слезал Дежнев с печи, кости грел.

Притомила его дорога крепко. После церкви, после воеводской милости ходил в баню, забрался потом на печь, и взял его долгий сон. Когда сон прерывался, не вставал, не открывал глаз и сквозь сладостную дрему слышал, как осторожно и легко передвигается по дому Сичю, как чмокает грудью ребенок, вздыхает, громко, с облегчением, будто взрослый. Семен улыбался и, повозившись спиной, чую сквозь тонкую подстилку теплые широкие кирпичи, засыпал счастливый.

Наконец Семен проснулся. Сошел вниз, скинул рубаху, отер пот, обсох и, кликнув жену, пошел в сени.

Сичю лила ему воду на руки, а потом вдруг плеснула ковшиком на загривок. Семен варевел, сграбастал озорницу, поднял, закружил, расцеловал.

Умывшись, утирался расшитым на русский манер полотенцем. Петухи на нем были жаркие, дорожки петушинные — крестиком. Сичю посматривала на Семена выжидаючи, и он похвалил:

— Молодец, Абакаядушка. Руки у тебя — золото! А теперь сына показывай.

Взял, как травинку. От бороды подальше, не напугался бы. Мальчишечка черненький, а глаза — синь. Улыбнулся отцу, руками в бороду полез.

— Ах ты, кутенок-якутенок, русачок миленький! — восхищенно возрадовался родитель. — Назвала?

— Тебя ждала.

— Крестить надо! Обоих вас окрещу. У крещеного сына мать крещеная должна быть. Что скажешь, Абакаядушка?

— Ты сказал.

— Я-то сказал, а ты-то как? Согласна?

— Согласна.

— Ну и хорошо. Мы теперь хорошо заживем, голубушка. Мужа твоего сам воевода приметил, пошлет, глядишь, на хорошую службу. Мы с тобой-то кое-как, а сын наш богатым будет. Будем с тобой мы, Абакаяда Сичю, зачинателями рода. Хороший род сотворим! Муж не дурак, жена красавица, в дворянстве бы детям ходить. Что скажешь, Абакаядушка?

Абакаяда видела, что муж весел, взяла у него сына, положила в колыбель, а мужа обняла нежно и сильно.

— Любимом назовем сына! — шепнул Семен на ухо Абакаяде, словно тайну доверял.

Абакаяду крестили, и стала она Абакан. Любиму был уже год, Абакан его баловала, а Семен в нем души не чаял.

Летом втроем ушли в тайгу готовиться к зиме. Семен бил зверя. Абакан резала мясо на ремни, развешивала на ветках, сушила. Жир и кровь тоже сушила. Абакан набивала жиром кишки животного, а кровь собирала в рубец. Нимэн — кровавая каша — в почете у северных людей.

Однажды Семен поймал лисенка. Обрадованный, потащил его в игрушки крошечному Любиму.

Семен тихо подошел к юрте и услышал, что Абакан поет. Поет сказку на якутском языке. Сказка была прекрасная, и у Семена заныло сердце.

Сел на землю, прислонился спиной к пологу, слушал:

Вышел охотник Итте,  
К рыбному озеру вышел,  
И солнце стояло алое,  
И пламя его веселое  
Трепетало в воде,  
Словно цветок нездешний,  
Словно светлая рыба,  
Та, что с серебряным рогом,  
Та, что владеет морем,

Та, что полюбит Итте.  
 За доброту его.  
 В этом сиянии алом  
 На глубине глубокой  
 Плавали светлые рыбы,  
 А может быть, плавали звезды.  
 Может быть, в этом озере  
 Отдыхали они?  
 Светлые эти видения  
 Не ослепили Итте,  
 Рысьим охотничьим глазом  
 Лодку увидел он.  
 Огромную черную лодку,  
 А в лодке сидел неподвижно  
 Тот, кто скалой казался,  
 Кого облетают птицы,  
 Кого не коснется бури,  
 Волки пред кем скулят.  
 Направил на великана  
 Ловкую свою лодку  
 Неунывающий Итте,  
 Итте, не ведавший страха.  
 — Зачем ты пришел в наши воды?  
 Как смел разогнать рыболовов? —  
 Кинул по ветру Итте  
 Дерзостные слова.  
 А тот сидел неподвижно,  
 Словно камень, задумчивый,  
 Словно бездна, немой.  
 Крикнул охотник снова:  
 — Я — Итте, ты мне не страшен!  
 Я сети свои забрасываю,  
 Будто тебя и нет!...

Дальше Семен не слушал. «Неужто, — думал, — Любим якутом вырастет?» Забежал в ярости в юрту и спит. Сидит Сичю, что тебе мать божия, а Любим за грудь ручонкой вцепился, сосет молоко и вздыхает от спокойствия, от сладости. Сичю улыbnулась Семену, глазами показала, где еду взять, а Семен глядит на своих дитятей, и хорошо-то ему, и покойно тоже, впору самому вздыхать, как Любим вздыхает.

Сел Семен возле колыбели, стал рассказывать ему свою русскую сказку, о русских сильных воинах, о слава-пом Илье Муромце.

По морю, морю синему,  
 По синему, по Хвалунскому,  
 Ходил-гулял Сокол-корабль  
 Ни много ни мало двенадцать лет.  
 На якорях Сокол-корабль не стаивал,  
 К берегам крутым не приваливал,



Желтых песков не хватывал.  
Хорошо корабль изукрашен был:  
Корма — по-звериному, бока — по-змеиному,  
Хозяин-то был Илья Муромец,  
Слугою был — Добрынюшка,

Никитин сын.

Было на корабле пятьсот гребцов,  
Пятьсот гребцов, удалых молодцов.  
Зазрил Сокол-корабль турецкий хан,  
Турецкий хан, большой Салтан,  
Большой Салтан Салтанович...

Журчала былина по камушкам будто, вспомнилась  
Семену русская мурава, ромашки млеют, небо высокое.  
Прилег Семен возле сына и заснул. Снился ему Любим-  
богатырь. Взрослый совсем, натягивает тугой лук, кричит:

Лети, моя каленая стрела,  
Выше лесу, выше лесу по поднебесью,  
Пади, моя каленая стрела,  
В турецкий град, в зелен сад,  
Во бел шатер, за золот стол,  
За ременчат стул  
Самому Салтану в белу грудь.

Хорошо кричит Любим по-русски, а сам в шкурах  
весь, северный мужик. Загрустить бы Семену, а грусти  
нет, смотрит на Любима, и по нраву ему могучий сын,  
чернявый, с глазами синими, будто лен зацвел.

Наготовив на зиму мяса, наквасив, навялив рыбы, на-  
солив грибов, вернулся Семен Дежнев в Ленский острог  
и зажил себе неголодно. Корову купил: опять хлопоты,  
косил траву, поставил на подворье стог сена — забыл  
походы.

Да в ту пору как раз вернулся из плавания казак  
Елисей Буза. Ходил по морям да по рекам Елисей  
пять лет.

Редкий день стоял в Ленском остроге. Солнечный,  
теплый, и вдруг на сторожевой башне пальнули из  
пушки.

Люди высыпали на реку встречать незнакомые кочи.  
Богатого и встречают богато, взял Елисей Буза для себя  
в долгом плавании тысячу восемьдесят соболей, двести  
восемьдесят соболиных пластин — хребтовая половина  
соболя, — четыре соболя шубы, девять соболях и лись-  
их кафтанов, две ферязи.

От воеводы Петра Петровича Головина вышел Елисей  
Буза и пьян и счастлив: велел ему воевода везти в Мо-

скву соболиную казну. Только Елисей перед казаками не зазнался, пошел с ними в кабак, всех поил и сам пил. Рассказывал о походе пространно, неудач не таил, удачами хвалился, а как же? — удача она и есть удача.

— И вам, казаки, подарочек привез! — кричал Елисей. — Трех юкагирских мужиков. Мужики те с секретом. А секрет их — о реке неведомой Нероге \*. На той-де реке Нероге, возле морского устья, в утесе над водой, — серебряная руда. Стреляют в утес из лука, и серебряные камни в лодку падают. Сам повел бы отряд, да велел мне мягкую рухлядь, большую царскую казну воевода наш преславный Петр Петрович Головин в стольную Москву отвезти.

— Коль серебро на Нероге, недолго нам в Якутске штаны просиживать, — сказал Стадухин. — Спасибо тебе, Елисей, за твоих юкагирских мужиков, соскучились мы тут без хорошей службы. Слава богу, теперь в путь скоро! Государю царю без серебра, как нам без хлеба.

— Скоро-то, скоро, да вот кого пошлют, — влез в разговор Семен Дежнев.

— Меня пошлют, — Стадухин гордо, с ухмылкой оглядел казаков. — Ну а ты не горюй, Семен. Я тебя возьму, уж больно ты здоров уговаривать, самого Сахея уговорил.

### НА ОЙМЯКОН, НА КОЛЫМУ

Михаил Стадухин был у воеводы Головина. Петр Петрович встретил неласково. Сам за столом сидел, а гость стоял. Позвал слугу.

— Что принес нам, знатный казак?

— Лисью шубу да одну пластину соболя.

Головин покосился на Стадухина.

— Обеднял, видно?

— Обеднял.

— Я вас всех за ушко да на солнышко. Воруете у государя. Ни один казну без воровства не сдал. Куда про- сишься? На Нерогу небось?

— На Нерогу.

— За такую реку, где серебро лопатой черпай, за службу, которая царю нашему Михаилу Федоровичу угодна и любя, лисью шубу принес? Стыдись, Стадухин. Не видать тебе Нероги. Я добро помню, милостью не обижу, но Нерога — человеку вежливому. Ты у меня пой-

дешь на Оймякон. Набирай четырнадцать казаков — и с богом.

Михаил Стадухин поклонился до земли.

— Благодарствую, благодетель мой Петр Петрович, за милость твою.

Головин махнул рукой.

— Пошел, пошел, да попробуй только с Оймякона-то без собольей шубы на мое плечо прийти! — и засмеялся. Пошутил.

А смех жесткий, с намеком.

Не прошло и двух недель, а Михаил Стадухин был готов в дорогу. Дежнев взял с собой жену и Любима, заколотил дом, корову с телятком отвел на корм якуту Манякую. Думал через год вернуться, а судьба по-своему распорядилась. По рекам, по морям, по горам и болотам странствовал Семен Дежнев двадцать лет.

Оружие, одежду, хлеб пришлось покупать на свои деньги. В сто пятьдесят рублей обошелся подъем. А поход был трудный и небогатый.

Холодно на Оймяконе. С реки Момы да с реки Ламы приходили сюда тунгусы, алданские якуты, а коренных людей не было.

О своей жизни на Оймяконе рассказали казаки в пространной челобитной. Вот она:

«Царю и государю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси бьют челом холопы твои государевы ленские служилые люди: Мишка Стадухин, Артюшка Шестаков, Мишка Коновал, Гришка Фофанов, Семейка Дежнев, Вавилко Леонтьев, Вторко Гаврилов, Сергейка Артемьев, Артюшка Иванов, Бориско Прокофьев, Ромашка Немчин, Федька Федоров. В прошлом, государь, во 7149\* году, посланы мы, холопы твои государевы, из Ленского на твою государеву службу на Оймякон-реку к твоим государевым ясачным людям — к якутам, и мемельским тунгусам, и аламунскому тунгусу Чюне ради твоего государева ясачного сбора. Божьей милостью и государевым счастьем с тех якутов и с мемельских тунгусов ясак твой государев на нынешний, на 7150 год взяли сполна и с прибылью.

В апреле, в седьмой день пришли ламутские тунгусы в ночи войною и казачьих коней побили, и якутских кобыл, и коней побили же, и якутов убили пять человек да служивого человека Третьяка Карпова убили, а двух человек ранили, а того Чюну называют холопом. А нынче, государь, служить твоей государевы конные службы

не на чем, а в наказе твоём государевом написано, что нам велено проведовати новые земли, а на Оймяконе жити не у чего, никаких людей нет, место пустое и голодное. А которые якуты жили, и они с того разорения пошли на Лену, на старые свои кочевья. Сказывал нам, государь, холопам твоим, якут Ува, что-де есть река большая Мота, а на той-де реке живут многие люди, а тот Оймякон пал устьем в ту Мому. Ныне мы, холопы твои государевы, слышали про ту реку и про те многие люди, пошли на ту реку Мому и тех людей сыскивать — тебе, великому государю, послужить.

Милосердный государь, царь и великий князь Михаил Федорович, пожалуй нас, холопов своих, вели, государь, наше бедное разоренное челобитие принять в Ленском Петру Петровичу Головину да Матвею Богдановичу Глебову, да дьяку Еуфимию Филатову, чтоб наша бедность и разорение тебе, великому государю, была ведома и про наше службишко было явно.

Царь, государь, смилуйся, пожалуй».

Открыть новую реку — значило учинить прибыль государю, воеводе и самому себе. Открытие ради бессмертия казаков не волновало.

Колыму открыли в 1643 году потому, что до 1643 года казаков устраивали более близкие пастбища. Но людей в Ленском остроге становилось все больше. Старые казаки из подчиненных вырастали в командиров и, щеголяя друг перед другом, вводили свои отряды на край света и, наконец, достигли его. Когда же эти новые командиры были убиты чукчами, или отосланы с почетом в Москву, или посажены на цепь за воровство, новые простые казаки стали еще более новыми командирами. Им тоже не терпелось открыть какую-нибудь речку.

А открывали Колыму вот как.

Дмитрий Зырян собрал на Яне соболей, отправил казну в Якутск, а сам пошел на Индигирку, с Индигирки на Алазею. Там казаки поставили острожек, собрали с юкагиров первый ясак. С казной — в семь сороков соболей — послал Зырян в Ленский острог Федора Чюкичева, который и рассказал в Якутске об этом славном походе, о том, как плавали по Индигирке, по морю, по Алазее, как воевали с юкагирским князцом Ноочичаном, как взяли в плен шамана и шаман открыл, что от Алазее в трех днях езды на оленях течет в море великая река Колыма,

на той реке русских не бывало, а живут на ней бесчисленные люди, а те люди о русских тоже не ведают, а соболей у них, зверя и рыбы что волос на голове.

Из четырнадцати человек Зырянова отряда девять было ранено в боях с Ноочичаном, и на Колыму русские идти побаивались. Тем временем пришли на Алазею морем с Оймякона Стадухин с товарищами.

Для начала казаки передрались, но к Зыряну ездил Дежнев и уладил дело. Отряды объединили, начальником стал Михаил Стадухин, а Стадухин долго думать не любил, сел на коч, взял с собой одиннадцать казаков — всех своих да Зыряна — и пошел на Колыму.

Первое зимовье с тыном вокруг поставили в самом устье, на протоке, а потом перебрались пониже, туда, где впадает в Колыму Анюй.

Назвали зимовье Нижнеколымск.

## ВОЕВОДА

Петра Петровича Головина — ленского воеводу — одолели дурные сны.

Снились ему разбойники. Будто убежал от них в махонькую часовенку, стоит на коленях и молится. Чем больше поклонов кладет, тем страшнее на душе. Икона перед ним большая, а какой на иконе святой, непонятно. И вдруг та икона начинает хлопать глазами, растворяется вдруг, и выходит на Петра Петровича дьявол с вилами. Смотреть на него нет никакой возможности, а отворотиться назад и того ужасней.

Дико закричал Головин и проснулся. Утро. Дом услышал крик воеводы и весь на дыпочках.

Петр Петрович лежит с открытыми глазами, с натугой вспоминает лицо вышедшего из иконы.

Вспомнил. Вскочил.

— Хабаров. Ерошка. Эй-й-й!

Влетели в спальню двое стрельцов.

— Взять!

Стрельцы метнулись вон, грохая сапогами. Этот тяжкий грохот, удаляясь, терял крепость, потом сапоги неуверенно и долго топтались на месте, пристыженно шаркали обратно.

— Кого?

Головин тупо и подозрительно смотрит на стрельцов.

— Пошли!

Разметался, задремал.

И опять явился ему с вилами. А лицо-то у него хабаровское.

— Эй-й-й!

Стрельцы врываются в спальню.

— Хабарова взять!

Стрельцы радостно мчатся подальше от воеводы; слава богу — прояснилось. Ерофея Хабарова привезли на следующий день. Он был человеком богатым, имел соляные мельницы, его люди промышляли для него соболя.

Головин сидел в шубе, равнодушный ко всему на свете.

Знали, что в такое время лучше к нему не подходить: очнется от своих дум — лютует, злой на всех невесть за что.

Юшка Селиверстов, дружок Стадухина, подольстился к воеводе. Уж кто-кто, а он-то знал, когда можно подойти к нему, а когда нельзя. Назло удачливому Хабарову влез Юшка к Головину с известием.

— Хабарова привезли!

Головин вздрогнул, поежился под собольей шубой. Ему, заметив дрожь и зная, что делать, принесли чару с двойным белым вином. Выпил, махнул рукой, дверь распахнулась, влетел от сильного толчка Хабаров.

— Здравствуй! — сказал ему Головин.

Хабаров сорвал с головы шапку, поклонился.

— Ты не гнишь, ты в глаза мне гляди.

Хабаров посмотрел воеводе в глаза. Блестели нехорошо, без усмешечки.

— Посылал?

— Кого?

— Ай не знаешь?

— Не знаю.

— Кнута!

Хабаров оттолкнул налетевших стрельцов. Сам растегнул кафтан, снял. Повалили, вдарили десять раз.

— Вспомнил?

— Нет.

Дали еще десять плетей.

— Вспомнил?!

— Вспомнил.

— Что?

— Что тебе хочется, то и вспомнил.

Головин вскочил, швырнул шубу наземь.

— Сны на меня бесовские напускал?

— Не напускал.

— Еще ему! Еще!

Опять дали десять плетей. Пошатываясь, Хабаров оделся, пошел от воеводы. На улице Селиверстов сорвал с него кафтан, плюнул в лицо. Ерофей глянул на него и пошел впереди стрельцов, освещивая голым сквозь оборванную рубаху телом, синими да красными рубцами да струйками алой крови.

Навстречу тащили к воеводе на расправу полуживого казака.

— Афонька Науменко, напускал на меня сатанинские сны? — грозно и торжественно спросил воевода.

Афонька поклонился.

— Напускал.

— Ах ты, мерзавец! — Головин подскочил к казаку, вцепился в бороду, дернул, и казачья борода осталась у него в руке. Швырнул в ужасе, перекрестился.

— Ты — кто?

— Афонька Науменко.

— Ты — кто?! — завизжал, загораживаясь, как от света, ладонью.

Тут как тут объявился Юшка Селиверстов в богатом хабаровском кафтане.

— Колдун он, Петр Петрович. Сам признался. Кого хошь испортит, какую хошь бабу присушит.

Головин подобрел.

— Научи, как бабу присушить, колдун Афонька.

— А просто. Возьми лягушку, посади ее на другую и в муравейник, а потом говори: «Столь бы тошно было той женке по нем Афоньке». От лягушек на третий день останется крючок да вилка.

Крючком подцепи любую женку — тебя любить станет. Надоест — вилкой отпихни, чтоб от любви не мучилась.

Головин захохотал.

— А борода-то почему легко оторвалась?

— Слышал, что ты-то, мол, дерешь за бороду, покуда не выдернешь, так я ее для твоей легкости сбрил и опять приклеил.

— Сорок плетей ему — и отпустить мерзавца. Развеселил, дурак.

Головин отправился в амбары. Одни амбары были государевы, другие — его. В государевых было много соболей, а у воеводы соболей было больше. Он покупал их, он брал их взятками, посылал за ними промышленников. Петр Петрович любил соболя. Эта любовь боком оборачи-

валась казакам, посылавшим в Ленский острог со многих сибирских рек драгоценный ясак. Вдруг оказалось, что все казаки воры и ни один из них не прислал казну сполна. Казаки ругались, а воевода бил их кнутом, огнем пытал, поднимал на дыбу и строил тюрьмы. В Ленском остроге поставили двенадцать темных больших изб, и ни одна не пустовала.

Головин оглядывал свои богатства и думал мрачно: «Москву могу купить».

Не высказывал словами, а про себя знал: нехорошо в Москве говорят о ленском воеводе. Будто бы уже нового послали или собираются послать. Сыскной приказ тоскует по Петру свет Петровичу.

### III. НА КОЛЫМЕ

#### ЗЫРЯН

Прибежала испуганная Сичю.

— Дерутся!

Семен набросил на плечи шубу, вышел на крыльцо. У сторожевой башни собралась толпа. Возвышаясь на голову над всеми, стояли друг против друга Стадухин и Зырян. Семен опрометью бросился разнимать. Оpozдал. Ворвался в круг в тот миг, когда ударил Зырян. Удар вышел больше хлесткий, чем толковый, но Стадухин упал, и лицо стало заливать кровью. Теперь надо было ждать ответного удара. Стадухин пружинисто выпрыгнул на обе ноги. Поднял правый кулак и стал покачивать телом, набирая разгон для удара. Ударил хитро, левой, под сердце. Пришла Зыряну очередь сидеть на снегу, тереть лицо и ловить ртом ускользящий воздух. Встал. Семен было сунулся, его оттащили. Зырян покряхтел, опустив руки, согнулся раз-другой. Вдохнул.

— Становись! — крикнул.

— Стою, — ответил Стадухин.

Зырян махнул его по боку, сплеча. Михаил подлетел в воздухе, кувыркнулся — и плашмя к ногам неподвижной толпы. От боли пополз на четвереньках, падая грудью на снег, вскакивая и опять падая.

Зырян стоял в середине круга, ожидая, пока противник отойдет. Михаил пришел в себя и ударил Дмитрия Михайловича опять под сердце. Дмитрий Михайлович



рухнул и не двигался. К нему побежали было, но он сел вдруг, отстранил толпу обеими руками.

Откинулся навзничь, подышал и начал подниматься.

— Кончай, мужики, загубите друг друга! — крикнул Семен.

Зырян искал его глазами, нашел, улыбнулся.

— Ничего, Семен! Отлежимся. А ты, Стадухин, вставай, бить буду.

Ударил и сам повалился. Лежали голова к голове.

— Мой удар! — цедил сквозь зубы Михаил. — Отдышусь только, вставай.

— Не бойсь! Встану.

— Проклятые! — Семен ударил о землю шапкой и убежал.

Бойцы все еще лежали на снегу, когда на сторожевой башне пальнули из большой затинной пищали.

Казачи ринулись по домам за оружием.

Охая, помогая один другому, поднялись драчуны, нашли на снегу кафтаны, натянули их. Путаясь ногами, побежали к сторожевой башне.

На башне стоял Семен Дежнев.

— Где? — спросил, задыхаясь, Стадухин.

— Здесь, дома. Сами себя забьем до смерти — тунгусам и юкагирам воевать не надо.

Собрались казаки с пищальями, копьями, саблями.

Хохотали.

— Миритесь, начальнички! — решили.

— Ладно, — сказал Стадухин. — Мирюсь. Только прежде дай сдачи дам, чтобы зла на тебя не помнить, чтобы все поровну.

— Бей, — сказал Зырян.

Встал. Стадухин развернулся во все плечо, казаки аж подзажмурились, а вдарил шутейно, ладонью.

Обнялись. Поцеловались.

— Ко мне пошли! — зашумел Семен. — Коль дело миром, ко мне в дом.

— Абакан! Сичю, моя дорогая! Принимай гостей.

Из морошки да из клюквы хмельное на стол явилось. Подавала Сичю по-русски. Сначала в русском сарафане — бойцам, в другом платье, попроще, — другим казакам. И третья смена была, а четвертая развеселила: вышла Сичю в меховой кухлянке.

— Казаки, — закричал Стадухин, — голова я над вами?

— Голова.

— Так что ж вы, сукины дети, жену мне не найдете. Надоело на чужих глазах, чужому счастьем завидовать. Находи мне жену — и все!

— Найдем, Михаил сын Васильевич! — гаркнули.

— Коль так! А ну-ка сбегайте в мою избу, принесите-ка вина белого. Стадухин — человек богатый, угощает!

Семен осторожно стал выспрашивать, из-за чего приключилась драка. Зырян отмахнулся.

— Поспорили о том, где не бывали, чего не видали. Из-за Новой Земли.

— Я говорю, — вмешался Стадухин, — что Новая Земля не остров \*, а пребольшая и чудесная, знать, страна. Идет она долго Севером до самой Яны и до Большого Каменного Носа. Когда на Яне службу государеву несли, видел я с товарищами землю эту, высокую, ледовитую.

— А я чаю, — объяснил Дежневу Зырян, — велика больно получается земля эта. Я чаю — нет земли, а вот островов в Студеном море несчетно.

— Есть земля на Студеном море! И великая та земля. Холодная, как у нас, а потом теплая, как в Китае.

— Нет земли — острова...

Мудрый Дежнев поспешно встрял в разговор.

— А вот я про мамонтов думаю. Большой был зверь, да и тот от холода весь извелся. Знать, и на Колыме тепло в давние времена было. А потом лед одолел. Вот я и думаю: а может, когда море не студеным, а теплым было, были в нем острова, а как наступил холод, так острова те льдом срослись и стали сплошным камнем от Новой Земли до Большого Носа.

Стадухин засмеялся.

— Мели, Емеля, твоя неделя.

Подоспело белое вино. Пили. Хмелели.

— А ну-ка, Семен, шахматы ставь! — крикнул Стадухин.

Шахматы Семен выставил, обыграл быстро. Стадухин вспылил:

— Знаю, что силен ты. Давай так.

Снял у Семена королеву, туру и пешку.

— Обыграешь — три четверти хлеба с меня, выиграю — жену твою три раза поцелую.

— Не пойдет: жена моя — человек, не вещь.

— Гордый ты больно, Семен. А я начальник твой. Кто вас на Колыму привел? Я, Стадухин. Играй! Не хочешь, чтоб жену твою поцеловал, весь хлеб твой заберу, проиграешь если.

Казаки примолкли, посматривали косо: уж больно куражился Михаил Стадухин. Был он пьян-пьян, а смекнул, что выгоднее всего разменять фигуры баш на баш, а там королева останется, тура — несдобровать Дежневу.

Пока охотился за конем, попал в ловушку — королеву за слона пришлось отдать. Коня прозевал. Сменял туру за другого слона Дежнева. Хоть сил побольше осталось, да Дежнев пошел конями пешки щелкать, а потом двинул свои, и пришлось Стадухину менять на них фигуры. Играл до самого мата и получил его.

В ярости через стол кинулся на Дежнева, схватил за грудки, рванул. Кафтан на Семене лопнул, и увидели на его груди кожаный мешочек.

— Бедняком прикидываешься, а денежки на груди носишь.

Сорвал мешочек, и выпало из него письмо на пергаменте. Потянулся к нему рукой, а Семен сплеча по лапе. Подхватил письмо — и к стене, на которой сабля висела.

Протрезвел Стадухин. Глаза сощурил.

— Три чети хлеба завтра получишь. Мое слово — слово. Кафтан сегодня пришлю. Всем готовиться к походу. Добирать с тунгусов ясак, в Якутск пора казну везти. Реки вот-вот вскроются...

Пошел из избы, казаки за ним.

Зырян один позадержался.

— Не врага ли нажил себе, Семен?

— Похоже. Да бог милостив.

— Особо не пугайся. В обиду не дадим. А письмо, что на груди носишь, спрячь получше. Не даст оно покоя Стадухину.

— Спасибо, Зырян. Бог милостив...

Ясак собрали, как всегда, с прибылью. Собрали миром, только род красавицы Калибы встретил русских войной. Взяли соболей силой, а Калибу взял в жены Стадухин. Заприметил он девушку, вошел к ней в юрту и вылетел кубарем. Калиба мимо него — и бежать. Казаки погнались за ней, а Стадухин на них волком: «Сам догоню!» Полдня где-то носились, а к вечеру привел Стадухин в казачий лагерь довольную, успокоенную жену.

— Ну, теперь можно и в Якутск, — сказал Стадухин. — Собирайся, Зырян, казну с тобой повезем, за нас на Колыме Семейка Дежнев останется да Иван Беляна.

Невесело было, когда пошел вниз по Колыме ладный коч Стадухина. Уходили в поход товарищи, оставляли на трудную жизнь. Узнают юкагиры да тунгусы, что русских в Нижнеколымске осталось вдвое меньше, поднимутся войной, пойдут отбивать аманатов\*.

## АЛЛАЙ

И война пришла.

В середине июня юкагирский князец Пелева прикочевал со своим родом к Нижнеколымску. В острожке жили аманаты, которых Стадухин взял у Пелевы. Дежнев забеспокоился, хотел прогнать юкагиров, но Пелева сказал, что его род скоро откочует, справит праздник убоя тонкошерстного оленя и уйдет подобру-поздорову.

Дежнев поверил Пелеве, но казакам велел ухо держать востро.

Выпал на праздник солнечный день, без ветра, с утренним морозцем. Сопочки стояли нарядные от снега, полыхали на солнце белеными холстами, а те, что были в тени, синели, как рождественские русские ночи.

В стойбище юкагиров зашумели спозаранку. Перед урасами\* женщины запалили костры, а перед большой урасой Пелевы огонь был такой, что языки пламени отрывались от костра и плыли по небу на спине густого дыма. Молодые мужчины и женщины в нарядных одеждах встали перед большой урасой и дружно кричали на оленей, которых подгоняли старики. Они кричали ритмично, но одно и то же:

— Хо-хок-хок-хок! Хо-хок-хок-хок!

Дети совали в огонь стрелы и пускали их, горящие, из луков на все четыре стороны. Взрослые потрясали тяжелыми копьями.

Дежнев с товарищами стоял на башне и следил через бойницу за юкагирами.

— Уж больно разошлись что-то! — сказал Втор Катаев.

— Духов они от скота гонят. Поорут, постреляют и оленей забивать начнут.

Так оно и было. Женщины пошли разбрасывать на четыре стороны кусочки колбасы, а потом мужчины начали колоть оленей. Забивали телят, взрослый скот били парами — оленя и олениху.

Полилась обильно кровь, и юкагиры возрадовались еще больше: матери кровью телят мазали детей и других

членов семьи. Каждая семья имела свой особый знак. Эти знаки рисовали кровью на лбу, груди, подошвах ног. Мясо, кости, шкуры понесли в урасы, а больше всего в большую урасу Пелевы.

— Вот что, казаки, надо нам свой пир затеять, — сказал Дежнев. — Приглашать они нас придут скоро, а нас больно мало, чтобы на пиры ходить. Пусть Пелева с нами будет, пусть наше ест-пьет. Аманатов в амбар запереть нужно, от греха подальше.

В стойбище гремели бубны.

Пелева явился с десятью воинами. Дежнев и тут схитрил, казаки разобрали их себе по домам. Юкагирам объяснили, что у русских нынче тоже праздник и что у русских такой закон: гости должны быть в каждом доме. У ворот остались Втор Катаев да Андрей Горелов.

Юкагиры тоже были с головой. Подослали к сторожевым мальчишек — дескать, посмотреть русские дома. Втор взял да и пустил их в острожек. Мальчишки — шмыг, шмыг к амбару, запор сбили и давай кричать по-своему. Гости выскочили из-за столов на улицу и бежать к воротам. Мальчишки бегут, аманаты бегут, воины бегут, казаки шумят! У Втора с Андреем голова кругом пошла.

А Пелева, как услышал базар, выхватил из меховых своих одежд русский кинжал — и Дежневу в грудь. Семен упал, а Пелева из дома — и к своим.

Только Дежнев был Дежнев. Под кафтан спрятал Семен железную рубашку, не задел его кинжал. Схватил Семен аркан и за гостем. С крыльца метнул, захлестнула петля горло, упал Пелева, ногами забил.

Тут и Втор с Андреем опомнились. Один стал палить по стойбищу — уже шли оттуда воины, другой по Пелевой дружине. Одного убили, остальных в плен взяли.

Стал Семен пытаться Пелеву, что и как, узнал недобрую весть: на казаков идет большой тайон Аллай, а воинов с ним пять сотен.

Хотел Семен взять с родичей Пелевы выкуп оленями, целое стадо хотел забрать, а казаки соболей запросили.

Дежнев говорит им:

— Война с Аллаем у нас будет долгая. Осадит острог, на охоту не побежишь, у юкагиров не возьмешь, своей еды не ахти много.

Иван Беяна пошел против Дежнева.

— На кой черт нужны олени! Их пасти надо. Попередохнут с голоду. А Аллай то ли нападет, то ли нет, то ли пять сотен у него воинов, то ли пять десятков, то ли есть он, а может, и нет его. Может, его Пелева придумал.

— Ну, смотрите... — сказал Дежнев.

Взяли выкуп соболями.

Пелеву и его двух воинов отпустили. Свернули юкагиры стойбище, ушли, а ночью вокруг Нижнеколымского острога запылали костры.

Никто не заснул в Нижнеколымске. Небо стояло такое черное, что выпавший снег тоже был темн. Небо утрашало тьмой, земля утрашала пространством, а костры с высокими злыми головами обещали пожар, кровь, убийство. Ах, как далеко были от маленького острожка покоя и дружелюбие!

— Вот и Аллай пожаловал, — сказал Беляне Семен. — Не пятьдесят у него воинов, а пятьсот, а то и вся тыща. Не придумал Аллая Пелева, будет Аллай поутру крепость брать.

— Кишка тонка! — рассердился Беляна.

— Да у нас тоже не шибко толстая. На север который ты глядит — хлипкок совсем, а вторую башню не достроили.

— Перевоюем, Семен Иванов, мы твоего Аллая.

— Может, и перевоюем. Его сегодня напугать надо. Коль убежит, успеем крепость поправить, успеем едой запастись, а не то плохо нам будет.

— Как ты его напугаешь, Семен Иванов?

— А вот этак...

И тайно ушли из крепости десять человек.

Семен выбрал себе самый большой костер. Где, как не у большого костра, стоит ураса Аллая? Подкрался совсем близко. Возле огня воины, человек двадцать, слушают, что старик говорит. Старик хорошо одет, может, шаман, а может, сам Аллай.

Вход в урасу ярко освещен огнем костра. От урасы ложится на мох большая подвижная тень. Кажется, что это сама ураса шевелится. Семен Дежнев пополз в эту тень. Полз долго, замирая и вылеживая, не шевелясь томительные бесконечные минуты. Старик у костра говорил все громче и громче. Это было на руку Дежневу. Проскользнул к урасе, прислонил к пологу мешочек с порохом, развязал его и, чертя на земле пороховую тропку, исполз назад.

И вдруг сильный порыв ветра отбросил в сторону спа-

сительную тень. Ветер отклонил пламя, и показалось Семену, что его глаза встретились с глазами старика. Может, так оно и было, но ударили по кострам казацкие пищали. Повалились убитые, закричали раненые. Заметались в испуге юкагиры.

Семен высек кремнем искру. Заплясала на снегу огненная змейка. Погасла на миг. Ослепительный шар вырос и развалился с грохотом возле большой урасы. Ураса запылала, и Дежнев, пятась в ночь, увидел, как выскочил из нее высокий молодой юкагир, а за ним — жены. Это и был Аллаи.

Казачи вернулись в крепость, а юкагиры, бросив урасы, бежали. И словно преследуя их, загорелся на небе призрачный терем северного сияния.

Утром казаки собирались идти за добычей, да не тут-то было: вернулся Аллаи.

Полтора месяца сидели казаки в осаде.

Кончилась мука, съели собак.

Женщины обдирали с бревен тына кору, мололи ее и пекли соленые лепешки. Чего было много в Нижнеколымске, так это соли.

А пороху и зарядов тоже осталось мало. Аллаи не только морил казаков голодом, он каждый день водил своих воинов под стены острожка, и с каждым днем все труднее и труднее отбивали казаки натиск юкагиров.

Однажды Сичю сказала Дежневу:

— Совсем плохо, Семен. Последнюю кору с тына содрали, на три дня хватит.

Сичю была совсем черная, да и у Семена остались нос да глаза. Семен собрал казаков. Сидели они перед ним заросшие, черные от пороха, в грязных рваных кафтанах. Не то что постирать — поменять одежду не было ни охоты, ни сил.

— Не пора ли, казаки, кончать Аллаю? — спросил Семен серьезно.

На него уставились мрачно и с надеждой. Когда не было и капли ее, от любой малости ждали чуда.

— Сегодня велю баню топить. Нельзя во вшивости нашей победить сильного. Мыться всем! Всем надеть лучшую одежду.

— Ну а как же Аллая победить? — спросил Втор Катаев.

— Как помоемся, скажу.

Тот день был для казаков жирный: прибежал под стены песец. Пока Дежнев говорил с казаками, Иван Беляна, сидевший на башне, крикнул:

— Семен, песец возле ворот гуляет.

Спотыкаясь от спешки, от слабости, Семен забежал на башню. Казаки прильнули к щелям тына. Песец почувал опасность и уходил в сторону юкагиров. Никто не стрелял. Лучшим стрелком был Семен, и нельзя ему было промазать.

— Далеко уже, — выдохнул за спиной Дежнева Беляна и в тот же миг грянул выстрел. Песец закрутился на месте, упал, вскочил и лег замертво.

Втор Катаев отворил ворота и бросился к песцу. Он уже был совсем близко от зверя, когда от юкагиров с копьями побежали к русским самые молодые и быстрые воины Аллая.

Втор схватил песца за хвост, потянул и упал. Не в силах расстаться с добычей, засучил ногами по земле, словно она была ледяная, пополз на четвереньках. Вскочил наконец и, бог знает от каких сил, побежал вдруг так, словно не было осады, не было голода, словно бежал налегке.

А песец тяжел был для голодного человека, больно долго воевал Втор без роздыху. И когда он вбежал в ворота, за ним ворвались храбрые юкагиры. Их было человек двадцать, но они были лучшими воинами Аллая, и Аллаю был с ними.

За этим отрядом шли в бой главные силы юкагиров, и Дежнев понял: не сумеют казаки закрыть ворота — конец. Отвлекая на себя Аллаю и его воинов, а все они знали, что Семен у русских начальник, побежал он по Нижнеколымску, и юкагиры погнались за ним. Уж почему — так бог знает, принесли его ноги к дому. Здесь он повернулся лицом к врагу, поднял пистолет — и рухнул: Аллаю выстрелил в него из лука. Стрела пробила шлем и вошла в голову. Стреляли юкагиры стрелами из кости лося, только один Аллаю бил железными стрелами, и прищлась его стрела на долю Дежнева.

От радости подпрыгнул Аллаю, бросил в сторону лук, подхватил правой рукой копьё, побежал добить Семёна. И вдруг крикнули ему:

— Стой!

Успел Аллаю увидеть: на крыльце русского дома якутская женщина, в руках у женщины лук. Свистнула, как приятель, стрела и вошла в горло, предательница. Упал



тайон. Попятились в страхе юкагиры, а тут ударили на них сзади казаки да аманаты, и ни один юкагир не вырвался из крепости. Оборонять тын было тяжело, слишком мало казаков осталось возле него, слишком много юкагиров рвалось в Нижнеколымск, но когда бросили им через стену тело Аллая, угомонились, отошли.

Из высокой небесной тьмы упала на Семена белая звезда. Она летела к нему, летела, а когда упала ему на голову, тьма отошла, и Семен увидел чернобровое лицо Сичю, а потом стены своей избы и казаков вокруг лавки.

— Отошел? — спросил Беяна.

— Отошел.

Почуял Семен, что ласкает его Сичю своими теплыми руками, застеснялся, нахмурился.

— Погоди, Сичю.

Глядит Семен, казаки лицами побелели, помылись в бане, видать, кафтаны на них свежие, новые.

— Спасибо, — сказал казакам Семен. — Спасибо, что послушали меня. Ушли юкагиры, нет?

— За стенами. Шум у них стоит, а не ушли.

— Как Аллая-то прогнали?

— Нет Аллая. Твоя Сичю кончила его. Если бы не она, не было бы у нас с тобой разговору, да и нас, должно быть, тоже не было.

— Спасибо тебе, Сичю, — Семен улыбнулся, поискал ее глазами, а женщины и след простыл, на улицу убежала.

— Тело-то где Аллая? — спросил Семен.

— Лезли через тын шибко. Бросили им.

— Зря. Выкуп за него надо было взять. Едой.

— Какой там выкуп! Не брось мы его, не удержали бы острожка.

— Ну, воля божья... С песцом-то как сделали?

Ответил опять Иван Беяна:

— Сало его вонючее аманатам отдали, а тушку еще не делили. Эх, Семен, не жена у тебя — чистый алмаз. Здоровенную ворону подстрелила.

— Слушай, Беяна, Втор-то живой?

— Помер. Копье сквозь сердце прошло.

— А раненых много?

— Шибко один ты, остальные ничего, на ногах. Аманата еще убили.

— Сколько же всего-то нас теперь, в остроге-то? Голова кружится, скажи.

— С тобой четырнадцать казаков, шестнадцать аманатов осталось, десять баб якутских да одна моя, Настя. Всего-то, значит, сорок человек и один.

— Вот что, Иван. Ставьте общий котел, варите песка и ворону тоже. Поделите всем поровну, по сколько себе возьмете, по столько и аманатам дадите. При них мясо дели, по-честному. Да воды побольше налейте в котел, вода будет жирная, она не хуже мяса живот накормит и согреет. Кости же соберите. Их раза три можно варить с пользой.

Беляна было заворчал, но Семен остановил его.

— Аманатов, Иван, нельзя обижать. Они верны нам. Без них плохо было бы, а изменят если — совсем никуда. Без аманатов не разогнать нам Аллаево войско. А не разгоним сегодня, завтра не разгоним и никогда уже не разгоним.

Замолчал, собираясь с силами.

— Слушай меня, Беляна. Надумал я бой с юкагирами. Сколько лодок у юкагиров на реке?

— Много. С двадцать не будет, пожалуй, а много.

— Уходить надо из острога. Накормишь людей, чтобы сила в них вернулась, и пойдем на юкагиров. Сделаем так. Я с тремя казаками встану перед воротами.

— Семен...

Дежнев сердито отмахнулся.

— Молчи, Беляна, слушай. Я с тремя казаками встану перед воротами, со мной пойдут четверо самых верных аманатов и все одиннадцать баб. Баб надо одеть в мужское, луки им всем раздай да рогатины. Ты возьмишь восемь казаков да сам девятый будешь. Когда они на меня ударят, ты на них с левого бока навалишься и гони от реки. А как погонишь, все мои бабы, аманаты и казаки побегут к реке на те юкагирские лодки.

— А что, если они за нами погонятся, в спину-то легче бить?

— Вот тут мы и пустим с правого бока всю дюжину аманатов да с ними двух казаков. А все они пусть возьмут шести, шести те намажут смолой, зажгут и со страшным криком — на юкагиров. Все добрые пищали я возьму себе. Пока бабы будут бежать к лодкам, пока вы с двух сторон будете бить Аллаевых воинов, я по ним из середины палить буду. А случится если — побегут юкагиры, тогда тех казаков и аманатов, что с бабами

будут к лодкам бежать, заворачивай на врагов и гони.

— Семен, а ты-то как?

— Мне, Беляна, бежать от Нижнеколымска нельзя. Я тут за хозяина, и ноги у меня сегодня не умеют бегать.

Юкагиры шли на острожек всеми силами. Шли медленно и грозно, шли в молчании, мстить за своего тайона, за великого воина Аллая. Их шествие было неотвратимым, как смерть. Ничто не могло остановить этот скупой на жесты, беспощадный гнев, ничто не могло ускользнуть с их дороги.

И вдруг ворота острожка распахнулись, и навстречу юкагирам выбежал казачий отряд. Отряд поставил перед собой шесть бердышей, а на бердыши оперлись черноглазые пищали. К пищалам подвели под руки русского начальника. Голова перевязана, белая рубаха, красные штаны.

Белика была ярость юкагиров, но они были воины, и передние пошли тише. Ни разу еще русские не выходили из-за стен на открытый бой, было над чем призадуматься.

Русский начальник поглядел, закрываясь ладонью, на воинов Аллая и наклонился над пищалью. Затрепетали храбрые сердца юкагиров, они шли еще вперед, но знали: вспыхнет через миг молния, и кто-то из них упадет, и кровь окрасит зеленые мхи.

Молния грянула, и юкагир в центре упал, и полилась кровь на зеленые мхи. Польшнула еще одна молния — и упал другой воин, и еще четыре раза русские злые духи нападали на юкагиров и забирали их жизни в другой мир.

Остановилось Аллаево войско в замешательстве. Полетели в русских стрелы, а русские пустили свои стрелы! Русские стрелы были с железными наконечниками. Юкагиры подбирали их и отсылали назад.

Казачи успели перезарядить пищали, но юкагиры подошли совсем близко, и плохо пришлось бы Семену, если бы не Беляна.

Он ударил вовремя, сначала из пищалей, а потом с рогатинами в руках пошел на юкагиров слева, и они, отхлынув от Семена, поворотились к нему.

Андрей Горелов вел третий отряд, и он опоздал, немало, но опоздал. Надо было ударить спустя мгновение после Беляны, а он замешкался. Юкагиры пришли в се-

бя, разделились на два отряда, и потеснили Беляну к острожку, и опять пошли на Семена.

Семен бил без промаха. Казаки заряжали ему пищаля, аманаты и женщины пускали стрелы.

Настя, жена Беляны, сидела позади всех с Любимом на руках. Сичю воевала.

Семен понял, что удар Беляны пошел прахом, и шепнул своим казакам:

— Если не поможет Андрей Горелов, отступайте с бабами в крепость. Успеете. Я их задержу с аманатами.

Андрей Горелов ударил наконец. Как черти, выскочили его аманаты с длинными горящими пестами. Бросились на правое крыло юкагиров, и те в ужасе от пламени, от неведомой русской хитрости шарахнулись к центру, ломая его, и все вместе бросились назад, к своему лагерю.

Путь к лодкам был открыт, но Дежневу показалось, что это победа, и он крикнул казакам:

— Гони!

Казаки и аманаты ударили юкагирам в спину, и бой, казалось, был уже кончен, когда юкагиры разошлись вдруг влево и вправо и на русских помчались — ну прямо дьяволы! Они мчались на оленях, с копьями, с гиком и визгом. Это вернулся из тундры тайон Пелева.

— Назад! — закричал Дежнев. — Бабы — в крепость!

Он остался один со своими пищалями и знал наверняка — все кончено.

И все было бы кончено, но у счастья своя, никем не угаданная жизнь.

Грозный грохот потряс небо. Олени метнулись в стороны, сбивая и юкагиров, и казаков, роняя всадников. По Колыме плыли кочи. Кочи приставали к берегу, казаки спрыгивали на землю и мчались в бой. Юкагиры заматались.

— Спасены! — сказал Семен, вытирая со лба кровь и пот.

К нему подбежал огромный детина.

— Семен! Дежнев! — поднял, чмокнул в усы. И Семену показалось, что кочи и разгром юкагиров — это только бред: откуда было взяться на Колыме глупому устюжанину Митяю?

— Да Митяй же я! Забыл, что ли? — кричал великан, но у Дежнева не осталось больше сил, он сел на зем-

лю, потом лег и закрыл глаза. Когда он их открыл, то увидел Зыряна. Сомнения быть не могло — все это пригрезилось, и, наверное, все уже казаки убиты и сам он убит.

— Очнись, Семен, — говорил Зырян. — Победа.

— Откуда ты взялся? — спросил Семен, не открывая глаз.

— Новоселова на море встретили. Вез он мне наказ воеводы быть на Колыме приказчиком.

Семен разом сел.

— Так не убит я, что ли?

— Живой! — засмеялся Зырян. — Смотри, кого тебе привез.

— Здравствуй, дядя Семен! Узнал меня?

— Да как же тебя не узнать-то?

— И я тебя узнал.

Митяй кинулся обнимать Семена.

— погоди, — отстранил его Зырян. — Видишь ведь, кровь из головы течет. Перевязать надо.

— Сичю жива?

— Жива, Семен! И Любим жив.

— А другие как?

— Семеро вас осталось, казаков.

— Половина, значит. Вовремя ты пришел.

Семен встал, потрогал повязку на голове и потом только крепко расцеловался с Зыряном.

— И со мной давай! — заревновал Митяй.

С Митяем трижды обнялся. Потом тихо шли по полю. Много было убито.

— Смотри ты! — сказал вдруг Дежнев. — Пелева.

Пелева лежал, схватившись руками за копьё. Он вдруг шевельнулся, открыл глаза. Копьё оторвалось от земли и ударило Зыряна в бок. Зырян упал, обливаясь кровью...

Пелеву убили. Зыряна понесли в крепость.

Болея он долго. Кашляя кровью. А через год умер.

Так закончилась война с бесстрашным и могучим юкагирским тайоном Аллаем, так закончилась жизнь русского морехода, воина, открывателя новых земель Дмитрия Михайловича Зыряна. Называли его казаки промеж себя Ярилой. Он открыл реку Алазею и вместе со Стадухиным Колыму. Всю жизнь собирал царю ясак, черных мягких соболей, и умер, как полагается герою,

бедным. Плакали по нему дюжина казаков да одна якутская баба. И то славно! По другим товарищам своим казаки не плакали.

С Колымы в Якутск, из Якутска в Москву пошла-пошла грамота: мол, сними ты, царь-государь, со своего царского довольствия твоего служилого человека Дмитрия Михайловича Зыряна, потому что ни денег ему твоих, царь, ни хлеба, ни соли, ни слова твоего ласкового не надобно. Плыла та грамота по рекам, катила в санях, поспешала верхом, а Москвы все не видать было: уж больно далека Москва, высока. Сколько еще лет будут колымские казаки отписывать свои грамоты царю Михаилу Федоровичу, не зная о том, что его душу за упокой уже поминают.

## ДВЕНАДЦАТЬ ИЗБ ВОЕВОДЫ

Четыре года носило Стадухина по студеным краям. Аж слезу прошибло, как показался Ленский острог. Не причалил еще коч, а Михаил был уже на берегу, прыгнул. Опустился на землю, поцеловал ее, невкусную, а перекреститься на церковь не успел. Подхватили его под белы рученьки и поволокли. Шевельнул плечами — не тут-то было. Повисли на руках парни дюжие, умелые.

— Куда вы меня тащите? Я и сам дойду!

Молчат.

— Стадухин я. Мне к Петру Петровичу Головину надо.

Молчат.

Провели пустынным городком, к одиноким безоконным избам. Было тех изб двенадцать, одну отперли, втокнули Стадухина в черное нутро, на руки, на ноги браслеты железные — и на цепь.

— Скажите, за что?

Молчали ловкие парни. Звякнули ключами, замками цокнули и ушли. Думай. Вспоминай свою вину, может, что и вспомнишь, а не вспомнишь — придумаешь, не за что-то ведь на цепь не сажают.

Ночью дверь в стадухинскую башню отворилась.

— Спишь, Михаил?

— Кто это?

— Не узнал?

— Юшка? Селиверстов?! Друг!

— Тихо. Держи хлеб.

— Что у вас делается, не разумею?

— Последние денечки Головин царствует. Ограбил всех. Заворовался так, что на Москве прознали. Едет новый воевода. Боярин Василий Пушкин.

— Меня-то за что взяли?

— Чего спрашиваешь? Бесится Петр Петрович! Последние денечки властвует.

— Дожить бы!

— Доживешь, бог милостив.

Проснулся Якутск и ахнул. Вдоль главной улицы стояли черные гусаки. Головин обошел виселицы, по каждой ладошкой ударил. Увидел казаков, крикнул:

— Ждите воскресенья. Потешу! Парфену Ходыреву — первому милость окажу.

Казаки стояли без шапок, склонив головы, пряча глаза. Не дай бог, что не так покажется воеводе: прибьет кнутом, а то и повесит.

Не пришлось порезвиться Петру Петровичу. Приехал дьяк. Прошел к воеводе в дом со стрельцами. Провели воеводу через Якутск в новехонькую двенадцатую избу. Для себя построил темный терем, для себя — тесный. Всех, кто сидел, отпустили. Вырвали виселицы с корнем.

Воеводу Василия Никитича Пушкина встречали, как царя. Чаляли в нем воеводу разумного, обходительного. Соскучились по слову высокому, ласковому. Про себя мечтали, что от встречи такой Петр Петрович Головин в тюрьме зубами скрежетать будет.

Встречали Пушкина за три версты от Якутска. Гонцов послали молодых да проворных, кафтаны на них надели соболиные. Стадухин и тут поспел. Подарил воеводе шапку соболем.

— От моих колымских казаков. — А шапку подарил свою. Иной убыток — прибыток. Много подарков будет у воеводы, а запомнится первый.

У ворот встречали хлебом и солью — все приказчики да начальники, не ниже атамана.

Принял воевода хлеб-соль, поехал по городу, ручкой помахал народу, возле церкви вышел из возка, а в церковь не пошел.

Постелили ему дорогу старенькими кафтанами матерчатыми.

Сказал воевода:

— Я ли не правитель самого просторного края? Я зря, что ли, ехал к вам два года? Мне ли по тряпкам хо-

дить? Или врет молва, что нет богаче сией полуночной страны? По соболям пойду!

Бросили в ноги воеводе собольи кафтаны. Разглядели: молодой совсем воевода, почуяли — и этот поровом крут и, прости господи, головой не силен.

#### IV. НА МОСКВЕ

##### ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Возвращались с охоты. Затравили матерого волка. Царевич Алексей сам перерезал матерому глотку, распалился, расхвастался, и все радовались тоже.

Наставник царевича Борис Иванович Морозов дал вдруг лошади волю, и все поскакали, тесня и обгоняя друг друга. Резвее были сердечный товарищ наследника, одногодок Афанасий Матюшкин и, конечно, сам Алексей. Первыми пересекли поле, врезались в молодой березняк.

— Афонька! — крикнул царевич. — Уводи!

Матюшкин попридержал коня, дожидаясь, чтоб его приметил свита, а наследник, увертываясь от деревьев, дал стрелача в сторону.

Сбило шапку — засмеялся. Хлестануло по лицу — опять засмеялся. Вырвался на опушку — и кубарем через коня.

Стояло расписанное облаками небо. Алексей потянул воздух в себя, в носу захлюпало. Вся морда небось в крови. Разом вскочил, потыкал кулаком в бока — целехонек.

Вспомнил о коне. Красный, шелковый, лежал он на синей осоке. Попал ногой в колдобину — начисто переломил: кость наружу вышла. Встал виновато Алексей перед конем на колени.

Отцу расскажут — ведь не будет ругаться, заплачет ведь.

Поиграть охота, Алексей? Нельзя: наследник ты. Свернешь себе шею — смутам быть. Убийствам, войне, мору. Поиграть охота, Алексей? Нельзя. Нельзя царям играть. Терпеть надо.

Отец-то, бедный человек, с шестнадцати лет в царях. В царях ведь!

— Вставай! — заорал на коня Алексей. — Здрав будь! Велю!



Коня била дрожь, косил на человека большим глазом.

Алексей заколотил руками о землю, обжигая ладони осокой. Вскочил. Захлебываясь до икоты слезами, вытянул нож.

— Погоди, боярин!

Перед Алексеем стоял мальчишечка.

Как одуванчик голова, глаза большие, темные, как болота.

— Возьми мою лошадь, а твоего коня поправлю. Отец мой лошади, он поправит.

Алексей снял с руки перстень.

— Дарю! Сердце у тебя доброе, человек!

Мальчишечка повертел перстень, поймал алмазом солнце и засмеялся.

— Горит-то весь!

— Где лошадь?

— Тут, сейчас приведу. Сено убираем. Отец заодно бортичает. Дупло нашел богатое, мед качает. Ты сбрую пока снимай со своего.

Мальчишечка убежал.

Алексей снял сбрую с коня, а сам молился, чтоб выжил, выдюжил его прекрасный скакун.

Лошадь была крестьянская, с большим животом, с тяжелыми, сильными ногами. Алексей усмехнулся и стал снаряжать ее. Она была смешная, добрая, эта лошадка, в царском уборе из золота, серебра, редких камней.

Прыгнув в седло, Алексей сразу же тронул повод, чтоб скорее убежать от погубленного коня, чтоб не застала его здесь свита.

Повернулся к мальчишечке, помахал ему:

— Шапку мою поищи в лесу. Она дорогая, в камнях вся. Тебе дарю.

...Борис Иванович, как увидел царя на кляче, так и похолодел сердцем. Закричал было, а наследник посмотрел на него кротко и сказал тихо:

— Ни о чем меня спрашивать не велю. Коня моего искать не велю. Отцу об этом не велю говорить.

Позвал к себе испуганного Матюшкина, весело стал рассказывать про своего сокола, которого подарил ему отец, расписывал прелесть охоты, мечтал вскоре устроить соколиную потеху.

Борис Иванович взмолился:

— Алексей Михайлович, нельзя же на такой кобыле

в Москву показаться. Что народ скажет? Послы иноземные что скажут?

— Дайте мне другую лошадь, — согласился Алексей.

Москва встретила тишиной. Тишина показалась выжидающей, и каждого в отряде охватила тревога.

В Кремль въезжали через Спасские ворота. Здесь царевичу шепнули, что батюшка царь Михаил Федорович плохонек.

Всю ночь не спали.

Собрались на половине царицы. В страхе ожидали вестей из покоев.

Молились.

От многих поклонов воздух колебался, и свечи перед иконами размахивали пылко огненными языками, и тени женских фигур мчались по стенам и потолку бесшумными, вкрадчивыми воронами.

Алексей хотел уйти, но мать не отпустила от себя.

Пришел Борис Иванович Морозов. Пришел смиренный, медлительный, но Алексей угадал по нему, что всего минуту назад тот был в деле. Он всегда что-то устраивал.

Успокоил царицу, успокоил царевича.

— Бог милостив, обойдется. Веселей будь, я вот нынче шапку тебе новую заказал. Сто шестьдесят восемь жемчугов на шапку отпустили...

Царевич улыбнулся, а учитель помчался творить государственные дела.

Алексей забылся в молитве, но забытье и горячая молитва были ложью. Он знал, что этой ночью станет царем. Чем сильнее знал он это, тем яростней молился, но молитва не могла победить наваждения. Алексей зарыдал.

Мать позвала его к себе. Он сел возле ног ее, положил голову на колени и позволил ласкать себя. Он давно уже не был мальчиком, а был наследником престола и не знал материнской ласки. Теперь он был мальчиком в последний раз. У него умирал отец, ему было жалко отца, ему было страшно за будущее, ему хотелось спать: он устал на охоте, а спать не полагалось. И он уснул.

В полночь Никита Иванович Романов вышел из спальни царя Михаила Федоровича и объявил о вступлении на престол царя Алексея.

На Успенском соборе ударили медленно в колокол. Евдокия Лукьяновна разбудила сына. Его под руки провели в комнату, и боярин Никита Иванович Романов первым принял присягу.

Борис Иванович Морозов носился по городу не зная. В комнате были лучшие, родовитейшие бояре России. Все они приняли присягу быть верными молодому царю.

Царь, измученный, глядел на людей страдающими глазами и был похож на маленького грустного херувима. Еще один добрый мальчик взошел на трудный русский престол.

### ЧИН ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ПРЕСТОЛ

28 сентября 1645 года на память преподобного Харитона-исповедника Алексей Михайлович Романов венчался на царство. Патриарху святейшему Иосифу было приказано в соборной церкви Пресвятыя Богородицы честного и славного ее Успения петь всеобщее и праздновать.

Перед сном, на вечерней молитве, Алексей положил две тысячи поклонов.

Назавтра проснулся раньше обычного, часа в три. Перекрестился. Стал перебирать в памяти чин постановления на царство. Тому нести животворящий крест, тому яблоко, тому велеть шапку доставить. Повторил речь, какую должен был сказать в церкви. Речь, как молитва, ни одного слова нельзя пропустить.

Стало вдруг Алексею страшно. На царство посадят сегодня. Самым главным человеком станешь. Все будут милости у тебя просить, а что дашь, когда на земле разор, неурожай, в казне денег нет. Когда большая русская земля бедна. Нет в русской земле ни золота, ни серебра. Одна надежда на далеких сибирских соболей.

Постельничий при пособии спальников и стряпчих убрал царя.

Слушал с матерью заутреню в крестовой палате.

В двенадцать часов вышел к столовому кушанью.

Велел подать постное. Боялся, что от жирной пищи схватит на торжестве живот. Съел кусок черного хлеба с солью, поел соленых грибов, выпил пива с коричневым маслом, тем и доволен был.

После обеда вздремнул, а в два часа дня вышел из хором в Золотую палату.

Приказал звонко, по-мальчишески, созвать всех бояр, а воеводам и чинам быть в сенях в золотом платье.

Созывать никого было не надо, все уже собрались за дверьми. Лучший, редкий российский спектакль начался. Дряхлому Иосифу-патриарху доложили, что царь в Золотой палате.

Окруженный великой свитой святейших мужей, патриарх проследовал в Успенский собор.

Царю шепнули, что патриарх на месте, и тогда он послал на Каменный двор за животворящим крестом и царским чином боярина Василия Ивановича Стрешнева, да казначея Богдана Минича Дубровского, да благовещенского протопопа Стефана Вонифатьевича и двух дьяконов.

Исподтишка посматривал на бояр. Все были торжественны, не улыбочивы, но стоило встретить кого-то взглядом, смягчались и расцветали.

Принесли царский убор и животворящий крест.

Шапку велел Алексей взять старейшему боярину благородному Лукьяну Степановичу Стрешневу.

Поднесли животворящий крест. Царь приложился, а протопоп Стефан Вонифатьевич провозгласил:

— Достойно есть!

На золотом блюде принесли царский сан. Алексей накрыл его поволокой с жемчужным крестом и дал своему духовнику благовещенскому протопопу.

Поднял драгоценную пошу Стефан Вонифатьевич над головой, понес в Успенский собор, а дьяконы поддерживали его под руки.

Продолжалась игра.

Понесли царский чин.

Как стали подходить к собору, ударили во все кремлевские колокола, и во все московские, и по всему царству. Встречал царский сан патриарх, выйдя из церкви, а протодиакон кадил.

Крест и сан приняли Варлаам, митрополит ростовский и ярославский, да Маркел, архиепископ вологодский.

Принесли патриарху Иосифу, тот принял и возложил на налой, кадил крестообразно.

Беречь царский сан встали Василий Иванович Стрешнев и Богдан Минич, а Шереметев пошел доложить царю, что все готово.

А тому было страшно.

Страшно, что родовитые бояре ловили, заискивая, его

взгляд, страшно и оттого, что нельзя было остановить эту большую игру, в которую играли седые, выдавшие виды мужи. Страшно было! Отныне его слово становилось законом. Отрубить голову! — отрубят! Наградить! — наградят.

Двинулись.

Впереди царя шли: князь Яков Куденетович Черкасский, Михаил Михайлович Темкин-Ростовский, Борис Иванович Троекуров, Богдан Матвеевич Хитрово, Шереметевы, Бутурлин, Собакин, многие другие знатные бояре и князья.

Святой водой кропил царский путь благовещенский протопоп. В церкви пели многолетие. Царь молился, целовал многоцелебную ризу Иисуса Христа. Принял у патриарха благословение.

Окольников да стольники установили народ, и патриарх велел начать молебн.

После молебна патриарх и царь вошли в чертог. Чертог был красив, обит червленым сукном, а в нем персидское золотое место — царю, а патриарху стул.

Ждали речь.

Царь покашлял, заговорил негромко, быстро, словно хотел выпалить речь на одном вздохе.

— Апостольских престолов восприемницы, святые истинныя православныя веры греческого собора столпы, пастыри и учителя Христова словесного стада богомольцы наши: пречестнейшие и всесветлейшие о Боге, отец отцам и учитель Христовых велений истины, столп благочестия, евангельские проповеди рачитель, кормчий Христова корабля святейший Иосиф, патриарх Московский и всея России и преосвященные митрополиты, архиепископы, и епископы, и весь священный собор, и вы, бояре, и окольников, и думные люди, и дворяне, и приказные, и всякие служебные люди, и гости, и все христолюбивое воинство и всего великого Российского царствия православные христиане...

И говорил все это витиеватое царь бездумно, не вникая в смысл, но в глазах затрепетал ум, а слово стало словом, когда помянул он, что дедом его был Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного. И голос зазвенел, и многие обратили на это внимание и запомнили.

Потом речь говорил патриарх, и в первый раз услышал Алексей все свои пышные титулы.

— О, богом дарованный, — начал Иосиф восторженно и красиво, — благочестивый и христолюбивый, изряд-

ный, сиятельный, наипаче же во царях пресветлейший Великий Государь, Царь и Великий князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец!

В игру вступили сановитые святые отцы. У святых тоже все по чинам.

Серапион, митрополит Крутицкий, да Маркел принесли крест на золотом блюде. Его приняли митрополит Афоний Новгородский да Варлаам Ростовский и передали патриарху. Патриарх поклонился трижды кресту, поцеловал, а потом благословил царя.

Двух архимандритов да игумена послали за бармами\*. Бармы приняли архиепископы суздальский, рязанский и епископ коломенский. Работы всем хватало, ни одного важного человека без дела не оставили.

После возложения на царские плечи барм и молитвы послали за венцом. Золотая шапка, узорчатая, в камнях бесценных, сободем опушенная, легла на голову Алексея. Патриарх, возложивший шанку, поклонился царю, и царь ответил ему поклоном, подняв над головой венец. Последний раз в жизни снял перед человеком царь шапку.

Когда возложили ему в руки скипетр да яблоко державное, он кланялся патриарху, а шапку уже не снимал, потому что вся земная власть была в его белых руках.

Пели трижды многие лета, кланялись царю священники и бояре, и сказал ему патриарх поучение:

— Всех же православных христиан — блюди и жалуй. И попечение имей о них от всего сердца, за обидных стой царски и мужески.

Царь кивал головой и улыбался. Было радостно, что церемония подходит к концу и удалась, никто ни в чем не промахнулся, в животе не теснило и бояться боярского подвоха не надобно, потому что он — царь, и теперь им надо бояться.

Все было хорошо. И погода была хорошая.

А по Москве, по кривым улочкам, под праздничный звон расползлся шепоток, что царь-то ненастоящий.

## ЦАРСКАЯ ЛЮБОВЬ

Царь радовался, что он царь. Все слушались, все кланялись. Охотился, сколько хотелось, платье носил самое дорогое, накупил лучших в царстве лошадей, натащил

во дворец домрачеев\* и бахарей\*, старичков бывальцев, калек и диковинных уродцев.

Правил царством Борис Иванович Морозов.

Евдокия Лукьяновна — мать государя — слабела здоровьем. И решила она обженить сына.

Кликнули по Руси клич. Отобрали двести девиц. Мать и ближние бояре осмотрели их и молодому царю предложили на выбор шестерых. Посадили в светлице, а царь глядел на них в потайное окно и полюбил дочь касимовского помещика Ефимию Федоровну Всеволожскую.

Была она юная, красотой ласковая. Была она первой девушкой, посмотрев на которую защемило у Алексея Михайловича сердце.

Ефимию Федоровну объявили царской невестой, взяли на житье в Кремль, и стала она ждать свадебного обряда.

...Метался по Москве расписной возок ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова. При хорошей езде быстрее и веселее думалось. Ехал он к Илье Даниловичу Милославскому. Прознал Морозов, что у незаметного Ильи Даниловича подрастают красавицы дочери, Мария Ильинична и Анна Ильинична. Поглядел их Борис Иванович и затаил далекую мысль. Дела свои совершал он тонко, и в 1646 году поехал русским послом в Голландию будущий боярин Илья Данилович Милославский.

Зима в тот год закрутила жестоко. Снег падал густо, а не тепло.

Борис Иванович сидел на стульчике возле окна и думал о русском престоле. Думал о Михаиле Федоровиче. Выборный царь был одно название. Тупых, заевшихся, замшелых бояр слушался, как ребенок. И что бы там ни говорили, своего добился. Остались Романовы в царях.

Алексей характером слабоват. Смышлен, набожен. С пяти лет читал, в семь писать научился. В девять знал церковное пение не хуже священника. Ему бы настоятелем, а он — царь...

Пришел из Посольского приказа дьяк, принес донос о самозванце.

Борис Иванович бегло просмотрел дело. Польский королевич Владислав, все еще мечтая о русском престоле, пригред Тимошку Анкудинова\*, мужика вздорного и

хитрого. Тимошка служил в Москве писарем, сам вологодский. Проворовался. Сжег дом, не пощадил жену. Сгорела в пожаре. Бежал в Польшу. Владислав объявил его Дмитрием — сыном царевича Дмитрия Иоанновича, а Тимошка перескочил в Турцию и там назвал себя сыном царя Василия Шуйского.

Борис Иванович усмехнулся. И вдруг ударило: а ведь того, кто замешан в эту таинственную историю с убийством царевича Дмитрия, тоже звали Борисом. Царь Борис Годунов. Царь Борис Морозов.

— Морозов! — сказал вслух и посмотрел на дьяка. Лицо непроницаемо. Отослал. Задумался, но дьяк вернулся:

— Царь едет!

Морозов накиннул на плечи соболью шубу, торопясь, пошел за ворота встречать великого гостя.

Алексей Михайлович был весел необычайно. В глазах голубейших зайчики кувыркаются. Собирает губы, соблюсти чтобы строгость, а они растягиваются от уха до уха.

Зашептал Борису, наклонясь к нему совсем близко:

— С Матюшкиным на женскую половину лазили. Полный подол невесте пряников насыпали. Она обмертвела от страха, а мы ей в окошко тайное показали, и уж так хорошо засмеялась Ефимушка-то, а зубы — снег под солнцем. Жени меня, Борис Иванович! Поскорей ты меня жени. Люблю несказанно Ефимию Федоровну.

Морозов ласково засмеялся.

— Женим! Женим! Завтра выйдет она в Золотую палату с боярами знакомиться, а там вскоре и под венец.

— В поля поскачу. Такой нынче день славный!

Царь, быстрый и легкий от своего счастья, убежал, уехал, умчался, а Борис Иванович кликнул служку:

— Заложу крытый возок!

И вслед первому слуге послал другого.

— Пусть не запрягают. Поеду, как стемнеет. Да чтобы лошади самые худые были и возок чтоб плохонький.

От Милитрисы, верной служки своей, услышала жена боярина Василия Мария Романовна, что ближний боярин Борис Иванович Морозов собирается известить невесту царя прекрасную Ефимию Федоровну.



Всполошилась Мария Романовна. Разведала, что завтра, когда царь будет сидеть в Золотой палате с боярами, выведут Ефимию Федоровну, тут-то все и приключится.

Всю ночь не спала Мария Романовна. Утром затемно поднялась, села возле зеркала и без жалости размалевала белилами да румянами хорошее свое лицо.

На молитве боярин Василий так и ахнул, глядя на жену, и, высказав удовольствие неожиданной покорностью, про себя ругался: привык он уже к открытой красоте жены, и малевание показалось ему премемерзостью.

В девять часов Мария Романовна прокралась в Кремль и шла уже по переходам в царицыны палаты, когда кто-то схватил ее в темноте и толкнул куда-то.

Крикнула — крик придавил к ледяному каменному полу. Некуда было вырваться голосу из тяжелого мешка.

Упала Мария Романовна на колени и молилась за цветочек аленький, за молодую Ефимию Федоровну.

А Ефимию Федоровну наряжали уже.

Одевали в золотое платье, обвешивали дорогими тяжелыми безделушками из чистого золота, усыпали бесчисленными жаркими камнями. Боярыня, убиравшая волосы, старалась. Завязала косы туго, каждый волосок с висков натянула волосником под венец, будто струны на гусях: тронь — запоют. Так натянула, что кожа на лице затосковала: моргнуть нельзя. Повели к царю, а в голове шумит, слезы от боли на глазах, и моргнуть нет силы.

Ввели Ефимию Федоровну в Золотую палату, а царь от радости и нетерпения поднялся с места навстречу любимой красавице своей.

Только успели отойти от Ефимии Федоровны служки, шагнула она раз, другой, покачнулась и упала вдруг.

Морозов так и кинулся к отцу невесты, к Федору Всеволожскому.

— Обманщик! Падучая у девушки. Большую в жены царю подсунуть хотели! — И на колени перед царем: — Прости государь-царь Алексей Михайлович, не стерпело сердце!

Нахмурился царь, отвернулся, рукой шевельнул. Ефимию Федоровну унесли.

Мария Романовна очнулась от молитвы. Было холодно и сыро. Задрожала, пошла вдоль стены, ощупывая в темноте стены. Влетела неосторожно в нишу двери,

стукнулась плечом, и дверь вдруг беззвучно растворилась.

Мария Романовна выбежала на площадь. Навстречу шел Борис Иванович Морозов, увидел ее, улыбнулся. У Марии Романовны сердце так и заколотилось: погибла царская невеста. Неужто дверь потайного погреба все время открыта была? Когда же открыли-то ее?

Мария Романовна побежала искать свой возок, и в это время проехала мимо тяжелая черного дерева карета со стрельцами на запятках. Занавески черные опущены были. Мария Романовна догадалась и заплакала.

Красавицу касимовскую Ефимию Федоровну везли в монастырь. А утром в далекую Тюмень поехал Федор Иванович Всеволожский — отец царской невесты.

Царь не находил себе места. В думе сидел молча, на охоту ехать не хотел, молился да плакал.

Тайком ночью пробрался в острог, роздал несчастным злодеям подавание. Сон потерял.

Как-то, чуть не на заре, бродил по Кремлю, и возле Чудова монастыря кинулся ему в ноги оборвыш. Царь поднял его. Лицо у оборвыша недоброе, на лбу шрам, на щеке другой, одно плечо выше, левая рука не гнется.

— Что тебе?

— Государь-царь, смилуйся и пожалуй! Казак я, Ивашка Нехорошев, из Сибири. Воевода Михайло Волинский для изувеченных, уволенных со службы казаков твоих устроил богадельню, а есть нам нечего, с голоду умираем. Смилуйся, государь-царь, князь великий, третью неделю, чтоб в ножки твои вдариться, стою здесь. Хлебного бы нам жалованья, смилуйся царь, Алексей Михайлович.

Повезло сибирскому казаку Ивану Нехорошеву да его дружкам Петру Раю, Никифору Носу, Василию Басарге. От своей печали пожаловал царь на каждого по две чети хлеба, на всех — шесть пудов соли в год, да еще по два рубля сразу дали.

В трудах да развлечениях забылось горе.

А через год Борис Иванович Морозов женил царя на Марии Ильиничне Милославской. Чтоб чего худого не вышло, на свадьбе спальною Алексея Михайловича оберегал Глеб Иванович Морозов, брат, родня верная.

Еще через две недели Борис Иванович и сам женился. В жены взял Анну Ильиничну Милославскую.

## ЦАРСКАЯ ЖАЛОСТЬ

Перед первым выходом в боярскую думу у царя в комнате собрались самые близкие родственники. Мать Евдокия Лукьяновна, дед по матери Лукьян Степанович Стрешнев, Никита Иванович Романов, учитель царя Борис Иванович Морозов.

Молодому царю нужны свои люди. Без своих людей даже царю нельзя править государством. Так вот и появился на Руси новый чин — «ближний боярин».

В думе зачитали первую царскую грамоту.

Из бояр в ближние бояре были пожалованы: Федор Иванович Шереметев, князь Дмитрий Мистрюкович Черкасский, Борис Иванович Морозов, князь Никита Иванович Одоевский.

Из дворян и стольников в бояре пожаловали князя Якова Куденетовича Черкасского, Ивана Ивановича Львова-Салтыкова, князя Федора Семеновича Куракина, Федора Степановича Стрешнева, Михаила Михайловича Темкина-Ростовского и Алексея Никитовича Трубецкого.

Все фамилии знатные, и все полюбили молодого царя. Теперь можно было и отдохнуть от государственных хлопот.

Царь уехал в любимый Саввин-Сторожевский монастырь, молился там и охотился.

Власть прибрал к рукам гордый, жадный до почета, до богатства первый Алексеев временщик Борис Иванович Морозов.

Перед отъездом из Москвы царь заглянул в любопытное тайное место. Позвал вечером своего казначея и приказал повести в кладовую Московского царства.

Прошли палатой, где были развешаны золотые парадные одежды для великих торжеств, праздников и приема иностранных послов. Одежд было много, костюмерная царя одевала не одну тысячу служивых напоказ. Несметно, мол, богато Русское царство, и дворяне его богаты, и люд.

В другой палате — опять же для пыли в глаза иностранцам — хранилась персидской красоты и красоты индийской, польской, немецкой, английской красоты и красоты русской серебряная, золотая, разукрашенная бесчисленными камнями столовая посуда.

Прошли соболями. Тысячи и тысячи шкур. На эту мягкую рухлядь, пожелай только, можно нанять армию,

купить тайну чужого двора, а можно просто лечь и утонуть в драгоценном ласковом озере.

А потом стояли мешки с серебряными деньгами. Их было много, и молодой царь воскликнул:

— Богаты несметно!

А казначей вздохнул.

— Мы, государь, бедны.

— Столько серебра — и бедны?

— Бедны, государь! Стоит заплатить стрельцам — и не будет этих мешков.

— Надо купить серебро у немцев. Надо побольше наделать денег. Не хватит серебра — медные начеканить.

Казначей шевельнул бровями, но промолчал: царь был молод и неопытен. Отворил потайную дверцу. Здесь лежали старые книги в золотых пластинах, украшенных сапфирами, изумрудами, алмазами. Здесь была сокровищница. Здесь хранились самые неопенимые камни.

— Прадед, Иван Васильевич, — сказал казначей, — перед смертью, говорят, приходил сюда. Взял бирюзу и другим приказал взять. Видите, говорит, на ваших руках у бирюзы цвет природный, яркий, а на моей — тускнеет камень. Я заражен болезнью. Это предвещает мне смерть.

— А где жезл царя Ивана? — шепотом спросил Алексей.

— Вот.

Жезл был украшен алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами, а сделан был из рога уже выбитого животного, единорога. Верили в те времена, что нет сильнее лекарства, чем этот рог.

— Царь Иван Васильевич, говорят, очертил на столе круг жезлом и велел пустить в него пауков. Те пауки, что не попали в круг, бежали прочь, а которые попали — дохли. «Слишком поздно этому жезлу спасти меня», — сказал государь Иван Васильевич.

Он любил рубины. Говорил, что рубин врачует сердце и мозг, очищает испорченную кровь, укрепляет память. А вот алмаз не любил. «Он укрощает ярость и сластолюбие, — говорил государь, — дает воздержание и целомудрие, малейшая часть его отравит лошадь, а тем более человека».

— Я люблю алмаз! — громко сказал Алексей и перекрестился.

Опять была охота.

Опять загнали волка, только убивал его уже не царевич — царь. Все возрадовались, но Алексей приуныл вдруг.

— Скучная охота. Ты, Матюшкин, давай-ка заводи соколиную. Тянет меня к ней. Красиво!

Ехали березняком. Места показались знакомыми. Вспомнил загубленного коня, остановился. Спросил свиту:

— Жилье далеко будет?

— Версты четыре, государь.

— Кто знает дорогу, веди!

Сорвались было в упреждение несколько всадников. Царь велел вернуть их. Подозвал к себе Матюшкина.

— Помнишь коня моего? Посмотреть хочу, поправил, что ли, его мужичок. Боялся тогда батюшку огорчить... Царство ему небесное, покой вечный.

Как цари ни стараются заставить народ свой в том, как он есть на каждый день, не выходит у них почему-то.

Встречали государя уже на околице хлебом и солью. На маленькой колокольне били в треснувший колокол.

Хлеб и соль поднес царю одетый в дорогое польское платье дворянин с лицом безо лба. Чуть позади стоял священник. Царь, приняв благословение, заговорил с ним. Священник отвечал умно, просто, но смешался и замолк, когда Алексей спросил про отрока, который не пожалел для царя, может быть, последней своей лошади.

Настушила тягостная тишина.

И вдруг, раздвинув толпу, выбежал из дальних рядов мужик, распластался перед царем и плачет. Царь наклонился, поднял мужика за плечи. Тот быстро-быстро заговорил:

— Смилуйся, царь-государь! Мой был Вася. Погубил его барин-то. И коня погубил. Смилуйся, царь великий, дослушай. За шапку дорогую, за перстень дорогой бил он Васю и покалечил всего. А потом пришел на двор наш и сел на коня. Конь-то вот-вот пошел бы, а он сел — и погубил и зарезал на глазах наших...

— Где отрок?

— Ушел, калека, со странниками. Бежал от барина нашего, а барин за это спалил мою избу.

Царь поворотился к безлобому дворянину.

— Как же так-то? Живые ведь все. Ведь больно, когда бьют, и телу, и душе.

— На моей земле шапка лежала. Значит, моя.

Выбежали царские слуги, поставили дворянина на колени. Царь отстранил их, плача, обнял жестокого глушца.

— Жалею тебя, да ведь страшные для людей твои дела. Наказать тебя надо. Отрубить тебе обе страшных твоих руки, на цепь тебя посадить. Прости меня, грешного.

Царь плакал, и все плакали, а дворянин с помутившейся от страха головой лежал в пыли перед царем и перед теми, кого истязал.

— Ему, — царь показал на отца отрока, — поставить дом большой, дать две лошади, а найдется отрок — сказать о том мне.

Вскочил на лошадь и ускакал. А позади дико орал схваченный и скрученный дворянин.

Царь подозвал Матюшкина.

— Землю эту вели взять в казну.

## У. ПЕРВЫЙ ПОХОД

### ЯРМАРКА

У Зыряна помощником был Новоселов. Ему бы после смерти Дмитрия Михайлова — первым человеком на Колыме, да казаки избрали приказчиком Вторга Гаврилова. Новоселов обиделся, забрал своих покручников \* и ушел вверх по Колыме.

И еще один человек на казаков обиделся. На людях был весел, а как закрывал в доме за собой дверь, так и чернел. Заслуги того казак имел немалые. Пострадал на Колыме ранами, пришел в эти места раньше Вторга. Звали того казака Семеном Дежневым.

Целыми днями лежал Семен на лавке. Пугал Сичю упрямым в злобе молчанием. Семену стукнуло сорок два. Пошел он на царскую службу простым казаком, шестнадцать лет служил, никакого чина не выслужил. Пошел из Великого Устюга с ветром в кармане — по сей день ветер по карманам свищет.

За эти дни Семен запомнил все трещины на потолке. Думать было не о чем, перебирал в памяти, как четки, свои заслуги, и день ото дня казались они ему все большими. На Амге и Тате мирил батурусских якутов. В Оргутской волости с непокорного Сахейя взял ясак миром. На Яну ходил с Дмитрием Зыряном. Ясак в Якутск привез сполна, был ранен ламутами. С Мишкой Стаду-

хиным на лютном Оймьяконе был. По Индигирке плавал. На Алазее был, дошел до Колымы... Прошли тяжкие времена, и никому не нужен Семен Дежнев.

Вставая наконец с лавки, брал медное зеркало. Как невеста перед венцом, гляделся, шевелил в бороде седые пряди. Седина всегда нравилась Семену, степенности она придавала. А теперь сердила.

— Старый хрыч, а все одно — простой казак. Пошлют на побегушки, побежишь: служба.

Вернулся из похода Исая Игнатов Мезенец. Дошел Исая до Чаунской губы и там выгодно торговал немым способом. Бежал под парусом на восток. Увидел на берегу людей.

Причалил.

Толмача \* с Исаем не было, и люди иноземные ушли от моря. Разложил Исая Игнатов на берегу свои товары: бусы, яркие одежды, материи, медные зеркала, сел потом в коч и отплыл в море.

Пришли иноземцы, имя которым — чукчи, посмотрели на товары и обрадовались. От радости плясали и пели. Русские товары они забрали с собой, а вместо них оставили меха, тяжелые топоры из моржовой кости да просто моржовую кость. Прибыль Исаю получилась великая.

Пуд моржового зуба стоил на Москве двадцать пять рублей. Царь запретил купцам покупать кость, всю что ни на есть продавали в государеву казну. Из Москвы шел моржовый зуб к хану крымскому, в Царьград, в Персию, в Армению. Возвращался он оттуда то в виде царского жезла, рукоятками кинжалов и саблей, а то — дивной работы тронном.

Семен не отходил от Исаия. Все дни проводил с ним, выспрашивал о пути, о ветрах, льдах.

А тут Втор Гаврилов отправил в Якутск соболиную казну. Осталось в Нижнеколымском остроге восемь служилых: Сергей Артемьев, Семен Дежнев, Мишка Коновал, Макар Тверяков, Семен Мотора, а еще молодые, незаслуженные.

Не ухватишь под жабры теперь судьбу — завтра и не мечтай. Вильнет хвостиком — и выйдет жизнь зряшней: ни чинов, ни богатства, ни памяти людской.

Горела у Семена душа. Был туча тучей. Целыми днями слонялся по берегу реки. Мысль была: дальше идти, на восток, в неизведанное. А завлечь в поход местных промышленных людей не мог: матушка-Колыма сама

рисковая — дальше идти все равно что в пропасть головой.

Однако кто больно хочет, у того и получается.

Зашумел Нижнеколымск! Собирались лихие сибирские гости на первую колымскую ярмарку.

Промышленный народ свозил в острог меха, кожи, сверху гнали лес, из леса строили на продажу кочи. Гости везли хлеб, соль, холсты, свечи, веревки, безмены, оловянную посуду, стрелы, топоры, английские сукна, бисер.

Был Нижнеколымск самым дальним острогом на Московском царстве. Не было на Московском царстве дороги смертельней, чем ледовитая дорога в Нижнеколымск. Дороже колымской жизни не было во всем белом свете. Бешеные деньги запрашивали купцы за товары. Пуд хлеба стоил в Якутске три алтына \*. В Нижнеколымске хлебушек продавали по восьми рубликов за пуд, а то и по десять. Два года простому казаку нужно было служить за пуд колымского хлеба. За такую прибыль купцу помереть не страшно.

Совсем засуетился Семен. Бегал встречать каждый коч, зазывал гостей к себе в дом, выведывал их думки, но никто не отваживался на поход в далекие края, на заветную реку Погычу, а по-другому — на Анадырь-реку.

В те дни подружил Семен Дежнев с молодым мореходом Гераськой Анкудиновым. Пришел Анкудинов на Колыму с удалой ватагой. В остроге не шумели — то ли с дороги притомились, то ли приглядывались пока. Коч у них был старенький, худой. Попали во льды, едва не утонули. Просили Вторя Гаврилова принять на службу. Принять их Втор принял, только службу они не желали нести. От кого была польза, так это от Ивана Пуляева. Пуляев морское дело знал хорошо, а руки у него были золотые. Стал кочи строить.

Кочи строили из хорошей сосны. Доски брали гибкие, мелкослойные. Длиной кочи были метров с двадцать, шириной до пяти, поднимали две тысячи пудов, ходили под парусом и на веслах, стоили рублей двести-триста.

Анкудинов решил купить новый коч, попросил у Семена денег взаймы. Знал Семен, что Герасим ограбил Андрея Дубова на Индигирке, там же досталось на орехи казаку Алешке Ермолину. Забрал у него Анкудинов четыре сорока соболей да соболью шубу. На четыреста пятьдесят рублей ограбил.



Дежнев так и сказал Анкудинову:

— Что ты денег просишь? Неужто их у тебя нет? Того добра, что у Ермолина взял, на коч-то за глаза хватит.

Анкудинов покраснел.

— Грабить, Семен, грабили. Только денег у меня взаправду нет. Товарищей у меня тридцать человек с гаком, а делили ворованное по-честному, по-равному, без обиды.

— Не дал бы я тебе денег, Герасим, да единомышленник ты мой, дорога у нас одна. Держи полсотни, покупай у Пуляева хороший коч. Бог даст, этим еще летом будем с тобой на реке Анадырь.

Жил. Шумел Нижнеколымск!

Все новые и новые купцы приходили на ярмарку. Приплыл с реки Оленек Федот Алексеев Попов, родом холмогорец. Был Федот приказчиком Алексея Усова, богатейшего гостя из Великого Устюга. Товаров у него было много, но торговать Попов не спешил. Встретились они с Дежневым в питейной избе ярмарки. Семен все еще хандрил и оттого бездельничал. Пить ему надоело, и теперь он одного за другим обыгрывал в шахматы. Ставки были по колымским деньгам малые — по два алтына за проигрыш. Перед Семеном лежала уже хорошая стопка монет, но играть ему было скучно, и, когда вошел Федот Попов, Семен больше слушал, как перебрехиваются старички, задавая друг другу загадки, чем смотрел на доску.

Старичков было трое.

Договор они поставили такой: кто не угадает, платит за угощение. Загадок старички знали много, загадывали хитро, а перебороть друг друга не могли.

Загадал самый старый из них.

— Летел пап, на воду пал, воды не замутил, сам себя не погубил.

— Перо! — хором крикнули отгадчики.

Второй загадал такое.

— Сидит титюшечка, ни зверь, ни птушечка.

— Так лягушка, поди!

— Она и есть, — подтвердил тот, кто загадывал первым.

Хотел третий свою загадку загадать, а Семен вмешался:

— Вы мою отгадайте загадочку: «Чего на свете нет жирнее?»

Один из старичков сердито покосился на казака и только из вежливости сказал:

— Земля!

Видать, для таких хитрюг дежневская загадка была проще пареной репы. Дежнева задело за живое невниманье, он стал придумывать загадку позаковыристей и прозевал на доске королеву.

— Вылазь, казак! — сказали за спиной. — Кончена игра.

Семен сердито поворотился и увидел, что за игрой его следит высокий, одетый в дорогое платье, с бородой, чесанной мелким гребнем, Федот Алексеев Попов. В Якутске Дежнев видел его, но знаком не был. Ругаться с Федотом Семен не захотел, посмотрел на доску, подумал и стал противника в свои ловушки завлекать. Играл весело, хотелось почему-то показаться перед купцом. Игра пошла тонкая, противник при своей силе боялся сделать неверный ход, потел и ошибался. Семен прижимал его помаленьку, а загадки краем уха тоже слушал.

Третий такое загадал:

— В камне спал, по железу встал, по дереву пошел, как сокол полетел.

— Огонь, — сказали старички.

Опять Семен влез в их разговор:

— Отгадайте-ка! Чего царь видит редко, бог никогда, а мы всегда.

— Ну, это даже я знаю, — усмехнулся Попов.

— Себе ровню, — откликнулись старички.

— Молодцы, — похвалил их Попов. — А теперь мою загадку отгадайте: «Дрон Дроньч, Иван Иваныч сквозь воду проходит, на себе огонь проносит».

Призадумались старички. И так прикидывали и этак.

— Может, плот? — спросил Попова Дежнев.

— Ты, казак, в шахматы играй, проиграешь ведь.

— Никогда я в шахматы не проигрывал, — рассердился Семен, — гляди-ка сюда.

И давай свои фигуры шевелить, от его соперника только пух полетел.

— Силен! — Попов даже пальцами прищелкнул. — Если ты и служишь так же сметливо, я бы хотел тебя в товарищах иметь.

— Службу знаем.

— Давай знакомиться, казак. Меня зовут Федот Алексеев, из Поповых.

— Знаю, — сказал Семен. — В Якутске тебя видел. А меня зовут Дежнев Семен.

— Ну, как же! Слышал! Кто ж о Дежневе не слышал? Сахей ведь ты уговорил?

— Я.

— Ну, вот! Значит, знакомы с тобой. Народ, — крикнул Попов зевакам, — угощаю!

К нему подошли вежливые старички.

— Над загадкой твоей долго мы думали, Федот Алексеев.

— Ну и придумали?

— А как же! «Дрон Дронич, Иван Иванович сквозь воду проходит, на себе огонь пронесит» — будет это уж.

— Верно. Идите и вы к столу.

— Да не хотим мы больше есть и пить. Мы загадками спорили, кому из нас за съеденное, за выпитое платить, а больше не хотим — сыты и пьяны.

— Ну, с богом, старички. Заплачу за ваше.

Поклонялись купцу.

Любил Семен гостей. Любил потчевать, любил показывать красавицу жену.

Засиделся Федот Попов допоздна у Семена. Уходить бы пора, но зашел разговор о главном.

— Не хочу, Семен Иванов, таиться перед тобой. Ты вот зовешь на реку Анадырь, обещаешь богатую прибыль, что соболями, что моржовым зубом. Я купец, а купец за хорошей прибылью на край света пойдет. Сам видишь, товаров у меня много, прибыль в Нижнеколымске — сказка, а вот я не торгую.

— Бережешь, значит, товары. Для Анадырь-реки бережешь? — Семен от радости двумя руками за бороду свою вцепился. — Верно делаешь! Здесь прибыль велика, а на Погыче, где один ты из купцов будешь, — за бусинку по соболу возьмешь.

— Семен Иванов, всех богатств не увезешь. Здесь, на Колыме, дело верное, а идти по морю-океану, среди льдов, невесть куда, невесть в какие народы — рисковно. Набежит буря, грохнет коч о камни — и прибыли конец. Был богат — и гол как сокол. Не из-за прибыли я в дальние края стремлюсь. Товары могут погибнуть, а то, что своими глазами видано, своими руками щупано, товар неоценимый, без порчи. Коль суждено ему пропасть, так вместе с тобой.

— Федот Алексеев, милый человек, нашел я тебя! Друга себе нашел, в делах, в помыслах...

Семен сгреб Попова лапами, оттолкнул, засморкался. А Федот Алексеев про свое говорил:

— У меня мечта пошибче твоей, Семен Иванов. Обживемся на Анадырь-реке, возьму я там соболей, меха, кость и пойду дальше. Верю я: по тому морю можно до Китая дойти.

Семен по коленкам себе ударил.

— Опять Китай! Как умный человек, так про Китай думает.

— Встречал таких?

— Встречал. Был один, да нет его. Чего вас туда тянет?

— За Китаем, Семен Иванов, Индия — страна удивительная и великолепная. Говорили, будто в давние времена были там наши купцы, в Индии-то. Повезет — с товарами приду. Нет — и так хорошо. Проложи я эту дорогу — самые богатые купцы, что наши, что иноземные, в ножки мне из благодарности поклонятся.

— Так что же, Федот, думаю, пора челобитную подавать Втору Гаврилову, отпустил чтоб меня с тобой на Анадырь-реку.

— Подавай, Семен Иванов. Золотое время уходит. До холодов надо успеть.

— Поспеем.

Утром Дежнев встретил Анкудинова. Отвел его в сторонку.

— Герасим, победа! Федот Попов собирается на Анадырь. Мы с ним договорились — идем вместе.

Анкудинов порадовался за Дежнева, но не очень. Семен этого не заметил — так был он счастлив. Перед обедом к нему прибежал бочком торговый человек Пятко Неронов.

— Медку я тебе принес, Семен Иванов. Крыночка махонькая, да ведь мед-то на Колыме сам знаешь почем.

— Спасибо, Пятко. Только отчего ты вдруг вспомнил обо мне?

— А как же! У тебя ж Любим растет, дите малое. Ему медок полезен. И от простуды хорошо.

Семен улыбнулся.

— Прослышал, видно, что на Анадырь собираюсь?

— Да говорят.

— Вместе со мной хочешь?

— Далекый больно путь. Подумать надо. А нужен

будет мед — сразу ко мне иди. У меня маленько есть.  
Убежал.

После обеденного сна Семен Дежнев пошел к нижне-колымскому приказчику, ко Втору Гаврилову с челобитной.

— Опоздал, — сказал ему Втор.

— Кто опоздал?

— Бьет челом приказчиком на Анадырь-реку Герасим Анкудинов.

— Гераська?

— Он самый.

Семен хватил себя кулаком по затылку.

— Пригрел змею! Денег давал на коч.

— Умный ты, Семен, а простоват. Больно-то не печалуйся, Федот Алексеев за тебя горой стоит.

— Сколько Гераська обещается явить соболей с новой реки?

— Сорок сороков.

— А я обещаюсь явить сорок семь сороков!

— Пиши челобитную.

Семен взялся за перо. Вдруг дверь распахнулась, и появился Анкудинов.

Семен встал ему навстречу.

— За моей спиной дела обделываешь, Анкудинов? Не стыдно ли?

— Дело, Семен Иванов, денежное. Где о деньгах речь, про стыд не думают.

— Бог тебя покарает, Анкудинов, не мне судить, а приказчиком на Анадырь я пойду. Ты явил сорок сороков соболей, а я сорок да еще семь.

— Приказчик Втор Гаврилов, являю с новой реки пятьдесят сороков.

— Ну а я — пятьдесят да еще пять.

— Шестьдесят сороков!

— Семьдесят! — крикнул Дежнев.

— Семьдесят, говоришь? — Герасим отер потный подбородок.

— Приказчиком на реку Анадырь пойдет Семен Иванов Дежнев, — сказал Гаврилов. — Явил он государю семьдесят сороков соболей, а промышленные да торговые люди в приказчики его хотят. Спору конец.

— А если я больше явлю?

— Спору конец! — сердито повторил Гаврилов. — Пиши челобитную, Дежнев, на семьдесят сороков, и в поход скорей. Говорят, льда на море много.

— Спасибо, Втор, — Семен поклонился приказчику.

— Мне не за что, Федоту Попову спасибо говори. Поправился ты ему больно.

## ПЕРВЫЙ ПОХОД

На дворе стоял серебряный полярный день. Было время сна, и отец с матерью спали. А шестилетний Любим не спал. Никак он не мог дожидаться, когда наконец взрослые поднимутся, заберут узлы и мешки, придут на кочи, и кочи поплывут в море-океан.

Сегодня Любиму правилась их разоренная изба. Стены были голы, полати и лавки пусты. Все спали на шкурах на полу, среди узлов с одеждой, с товарами, едой. Лишь в красном углу осталась висеть маленькая серебряная икона богоматери и лампадка перед нею. Любим поглядывал на икону с беспокойством. Вдруг бог на небе передумает и отец останется дома? Опять застелют ткаными дорожками полы, на стены прибьют шкуры, повесят полотенце с красными петухами, мать затопит печь и будет варить обед.

Любим приподнимался и глядел на отца. Тот дышал во сне шибко, как богатырь. От сильного дыха шевелились усы, и было ясно: человек собрался в далекую дорогу и спит что есть мочи. А вот лицо у богоматери строгое, непонятное. Любим встал, прошел в красный угол, забрался на лавку. Теперь лицо богоматери было близко. Он мог хорошо его рассмотреть, а понять не мог. Лицо было так же строго и неизменчиво, но губы розовые, небольшие, чуть-чуть улыбались. Издалека это нельзя было увидеть, а вблизи так оно и было: губы богоматери незаметно улыбались, и Любиму стало спокойно. Он подкатился отцу под бочок и заснул.

Самые лучшие времена, самые лучшие вещи на свете всегда подпорчены тем, что их ожидаешь слишком долго. Но чудеса тоже случаются! Когда Любим открыл глаза, то сразу догадался: чудо произошло. Он не закричал от радости, не вскочил, он только улыбнулся во всю полноту своего заслуженного счастья и долго, не отпуская с лица улыбки, следил, как плывут по потолку тесной казенки тонкие драконы отраженных волн. Коч, едва раскачиваясь, плыл к морю, и за окошком стоял незатихающий серебряный день.

Когда много радости, она все приходит и приходит, пока не польется через край. А когда она льется через край, люди вдруг устают, мрачнеют, и наступают будни.

С Семеном Дежневым и Федотом Поповым шли на реку Анадырь четыре коча.

Плыли, весело ездили друг к другу в гости, да и говорить было не о чем. Погода стояла хорошая, ветер дул попутный.

Однажды на берегу появился человек. Он размахивал руками, кричал, и его заметили.

— Да ведь это никак Митяй! — удивился Дежнев. — С таким силачом нам теперь никакие чукчи не страшны.

Митяй любил Дежнева доверчиво и преданно. Мечтал пойти с ним на край земли, а тут перед самым походом Втор Гаврилов послал его с казаками собирать ясак. Митяй обернулся быстро. Самыми короткими тропами вышел на Колыму и встретил кочи.

Митяй радовался своей удаче, и ему были рады.

Счастье корабельщиков растаяло в устье Колымы.

Дорогу преградили тяжелые льды.

Долго стояли лицом к лицу, словно две армии, льды и кочи. Стояли упорно, мрачно и недвижимо. Выжидали. И ничего не дождались. Льды не ушли, и кочи не уходили. Короткое лето кончалось, зашевелились над океаном бури, легли на мелкую воду утренники, и всем стало ясно: похода не вышло. Кочи развернулись и, хлебая парусами неверный ветер, поплелись назад.

Резвый Дежнев ссутулился и замолчал. В иной день от него не слышали ни слова.

Любим тоже притих, сидел где-нибудь в уголке и думал.

Думал он о том, что богоматерь на иконе была строгой, а не улыбчивой. Это только так, пригрезилась улыбка. Боги не умеют улыбаться, они наказывают тех, кто видит в них другое, не то, что есть на самом деле.

## ПЕРЕД НОВЫМ ПОХОДОМ

Семен вернулся с охоты пуст и зол. Грязными сапогами протопал через горницу, плюхнулся на лавку.

— Сапоги бы снял, — сказала Сичю.

— Чего снимать-то, — рявкнул Семен. — Все равно грязница. Была бы у меня русская баба — блестела бы изба. Ни дьявола не можешь. Рубаху-то постирать не можешь.

— Я стираю, — сказала тихо Сичю.

— Стираю! А наши бабы белье-то на прорубь ходят полоскать. Рук не жалеюг.

— Сними сапоги! Твоя изба будет блестеть.

Не ответил.

— Сними сапоги!

— А ну вас! Дома не дадут спокойно полежать.

Вскочил.

Сорвал со стены луки и колчан. Ушел. Наверное, опять на охоту.

Трудно жил Семен после неудачного похода. Федот Попов успокаивал его. Не беда, мол. Переждем зиму, попробуем еще раз. Но спокойствия у Семена не было.

Вернулся он домой после ссоры с Абакан Сичю через день.

Любим молился и плакал. Сичю лежала, разметавшись на шкурах, бредила.

— Что с мамкой? — спросил Дежнев.

— Под лед на речке провалилась.

— Знахаря звал?

— Звал.

— Не помогает?

Любим тер глаза кулаками.

— Не плачь.

Семен положил на голову жены мокрую тряпицу, хорошенько укрыл.

— За шаманкой пойду. Она ото всех болезней врачует.

Шаманка была старая и жадная до подарков. Дежнев привел ее в Нижнеколымск, в свою избу. Дал вина. Шаманка выпила и принялась за дело.

Положила на бубен большой камень, подула и стала жать его. На пол посыпались маленькие камушки. Их набралось много, целая куча. Потом шаманка подошла к Сичю, приложила губами к ее лбу и долго высасывала болезнь.

— Все, — сказала она наконец, — болезнь ушла.

Сичю и вправду полегчало. Семен поехал проводить шаманку. А пока он провожал ее, Сичю умерла.

Тихо было в избе. Пусто. Семен сидел на лавке, на коленях у него Любим. Сидели они так целыми днями, не уронив ни слова, ни слезы.

Пришел Федот, Митяй и еще много людей.

Федот сказал:

— В Якутск уходит отряд с мягкой рухлядью. У те-



бя в Якутске много друзей с женами. Отошли пока Любима к ним. Вдвоем вы горюете вдвое. А летом нам, Семен, в поход с тобой. На кого мальчишку оставишь здесь? Женщин мало, а в поход взять — сам знаешь, что во льдах-то нас может ждать.

Семен согласился.

Он долго еще соглашался со всем, что бы ему ни говорили.

Любим ушел с казаками в Якутск.

А весна близилась. Оживала тундра, оживал и Семен Дежнев.

## VI. ВТОРОЙ ПОХОД

### КАБАРГА НА ПАРУСЕ

Близилась весна — время новых неведомых походов.

Каменели от напряжения лица мореходов, оживали глаза: сверлили, испытывая, ненавидели ненавистников, дружили с товарищами. Жестокое время наступило, спешное.

Когда в царев кабак вошел Дежнев, все чарки, и те, прикладывались к которым, и те, что вполовину выпиты были, встали вежливо против хозяев, а хозяева руки под стол и глазами так и слопали Семена с косточками.

Дежнев, не пугаючись, сел промеж гляделок. Чару ему подвинули — взял. Весело играя глазами, пригубил.

— А вы-то что ж?

— Сперва нас догони, — сказал Анкудинов.

— Герасим, что зряшное говоришь. Тебя-то и нашинскому быку не догнать, а нашинский бык, толковали старые люди, всю Сухону, было дело, выпил.

— Ты меня с быком не ровняй, Дежнев. Не ровен час обижусь.

Худой, черный, как головешка, Анкудинов пылал на Семена глазами, а тот опять приложился к чаре.

— Не боишься вино-то из наших рук пить? Может, отравили мы вино-то?

— Раньше, чем бог не пожелает, не помру. А пугать меня довольно, Герасим. Я и без тебя пуганый. Ты отвечай-ка лучше, чего шумишь на купчишек да промышленных людей? От моего похода все равно не отворишь!

— Да я... Да я их как петухов лишних! Головы я им поотрываю, если они с тобой пойдут.

Герасим вскочил, махал руками, сбил на затылок шапку.

— Да я!..

Грохнул выстрел, шапка, разорванная на куски, полетела прочь. Герасим схватился за штаны и остолбенел.

— Поди освободись. Воняет шибко.

У Дежнева из рук поглядывали пистолы. Один дымился.

— Осатанел! Сволочь ты! — запричитал тонко Анкудинов.

Дежнев встал, сунул пустой пистоль за пояс, допил чару.

— Смотри, Герасим! Зарывайся, да не очень. Рука у меня жесткая, как палка, не промахиваюсь. И не тронь моих людишек. Не тронь, Герасим. — Усмехнулся. — А хлипок ты на расправу, паря.

Бросил на стол деньги за чару и ушел.

Кабак затрясло от бешеной ругани.

Пока шел по улице, храбрился Дежнев. Молодцом глядел. Видано ли, такого разбойника, ухаря-разлюбли напугал.

Да как напугал.

Дежнев поглаживал усы, посмеивался.

— Кончилась твоя сила, Герасьяка Анкудинов!

А пришел домой, приуныл. Был Анкудинов из корысти врагом, а теперь он и сердцем враг, теперь ему с Семеном вместе на одной земле душно будет жить, ай, как душно! Убей он Семена, и то злоба не иссякнет. Ведь на такой срам обрек человека. Теперь хоть Кузьмой Мининым станешь, все равно за спиной шепотком смеяться будут.

— Ах, Семен, Семен, маху ты, милый, дал! Умным дразнят, и впрямь не дурак, да вдруг палить в кабаке взялся. С воров ли такие шутки шутить? У вора глаз рысий, зубы волчьи, а ноги да сердце заячьи. Кому про то неизвестно! Нажил смертного врага и радуйся.

Как был в сапогах, завалился на лавку. На кой ляд теперь чистота в избе! Без бабы дом — одно название. Загоревал Семен Иванов.

Прикидывает и так, и этак, все нехорошо.

Эх, был бы Семен царем, устроил бы он на земле хорошую жизнь.

Велел бы всем дело свое делать по совести. Крестьяне чтоб землю хорошо пахали. Кузнецы чтоб железо ковали, не ленились. Попы да монахи и денно и пощно грехи бы у господа бога замаливали, а казаки б царство берегли, а когда надо — воевали.

Велел бы Семен хлеб делить на всех поровну, чтоб голодных не было. Всем бы и землю дал. Земли-то ничейной, не работающей, в Русском царстве на сто царств хватит. Перешел за Камень — два года иди, а распашанной земли не найдешь. А есть хорошие земли, хлебные.

И до Камня земли много.

Велел бы Семен все деньги из царской казны вытряхнуть и тоже поровну поделить, а кому не хватит, еще наделать. Не хватит серебряных, медных нарубить, а то и железных.

В соболях кафтаны одел бы Семен людей. Чего соболям зазря в царских да боярских кладовых гнить. А не хватило, велел бы Семен набрать сто тысяч охочих людей и послал бы всех в Сибирь. Сибирь большая, а казаков пока что мало в ней.

Ну а тех бояр да дворян, которые не захотели бы такой вольной и сытной жизни для всех, царь Семен прогнал бы. Пусть проваливаются подобру.

В дверь легонько стукнули. Семен вскочил с лавки, рука легла на пистоль.

— Входи!

Вошел Попов.

— Будь здрав, Федот! Напугал. Вздремнул чуток.

— Не время дремать, Семен Иванов. Пора бы паруса по ветру ставить. А то набегут льды. И прощай Анадырь-река еще на год.

— Пора, Федот, верно. А не боишься идти с неудачником-то?

— Пустое.

— Ежели так, возьми за иконой челобитную. Обещаюсь явить опять же семьдесят сороков соболей. Завтра подам Втору Гаврилову. На словах-то Втор обещал отпустить меня с вами.

— Ты, Семен, бороду причесывай, и пошли, пока не поздно. Не ровен час, опередит Анкудинов. Совсем он запугал промышленных-то.

— Когда пугал-то?

— Часа не прошло.

— Ой ли?

— Ты слушай. Сидим мы у Баженка Астафьева, мозгуем, как лучше поход сделать, и вдруг вваливается в избу Гераська Анкудинов и с ним вся его братия. Глазом не успели сморгнуть, а они по всей избе рассыпались и за спиной у каждого из нас встали, в руках ножи, и теми ножами вертят они у самых наших глоток, а Гераська похаживает да бахвалится. Захочу, мол, всех вас зарежу сей миг. А пойдете с Дежневым — так и знайте, зарежу! А пойдете не со мной, а с кем другим, и я с вами на своем коче пойду, буду вас грабить и ваших ясачных мужиков тоже пограблю и побью.

— Пошли к Втору!

Дежнев выхватил у Попова челобитную.

Пинком, в сердцах, растворил дверь и зашагал к съезжей избе колымского приказчика.

Пятко Неронов был человек маленький: и ростом, и разумом, и богатством. Зато был Пятко Неронов живучий, будто кошка, и цепкий, как лесной клещ. За Дежнева держался он, что за Христа. Дворняжкой за ним ходил, в глаза заглядывал. И вдруг на нероновское несчастье объявился Герасим Анкудинов. Был Герасим не по душе Пятко, богатства от него Пятко не ждал — какое уж там богатство, если у человека степенности ни на грош. Да как увидел Неронов сразу двадцать голых ножей, а пуще всего тот нож, что плясал возле гладкой его бороденки, забыл Неронов Семена. До слез не хотелось предавать верного сильного товарища. Предал.

Подошел Дежнев к съезжей избе; на крыльце стоят анкудиновские разбойнички, а дверь загораживает Пятко Неронов.

Поднимается Дежнев по лестнице медленно, будто к ногам его ядра фунтов на сто привязаны, дружки Анкудинова теснятся, однако несмело, а Пятко Неронов руки разинул и пропичал:

— Не пойдем с тобой! Никто не пойдет! И не ходи к приказчику! Добром говорим, не ходи к Втору!

Дежнев одолел последние две ступеньки да как гаркнул на Неронова сверху, в голенькое темечко. Крепко гаркнул, солоно и безудержно. Неронов присел. Как воробушек, прыг туда, прыг сюда — и бегом, не оглядываясь.

Зашел Дежнев в съезжую, поклонился Втору Гаврилову, смотрит — а перед Втором уже Анкудинов стоит.

Говорит Втор Семену:

— Герасим Анкудинов челом бьет на реку Анадырь приказчиком. Явил семьдесят сороков соболей.

— Семьдесят сороков я в прошлом году являл, — сказал Семен, подходя к столу вплотную. — На нынешний год являю семьдесят сороков десять соболей. Прими, Втор Гаврилов, мою челобитную.

Анкудинова затрясло.

— Я, Дежнев, с тобой торговаться не буду. Хватит, в прошлом году поторговались. Однако знай: сколько бы с тобой кочей ни пошло, а мой следом пойдет али впреди.

— Пойдет с Дежневым шесть кочей, — сказал Гаврилов.

— Мой седьмым будет!

Анкудинов выскочил на улицу, пальнув дверью. Гаврилов засмеялся.

— В штаны, говорят, напустил поутру.

Дежнев был мрачен.

— Вели мне бумаги дать, явочную \* буду писать.

— На Герасима?

— На Герасима.

— Пиши. Только я ему препятствовать, Семен, все равно не стану.

— Это почему же так! Он грабить моих гостей да моих ясачных людишек обещает, твое дело тут не стороннее.

— Надоел он нам в Нижнеколымске, Семен. А на море, глядишь, от него и польза вам будет. А пользы не будет, все равно с глаз долой. Он мне тут, пожалуй, всю ярмарку разгонит.

Не зная, что Михаил Федорович, русский царь, вот уж третье лето как помер, Семен писал \*: «Царю, государю и великому князю Михаилу Федоровичу всяя Руси, бьет челом холоп твой ленский служилый Семейка Дежнев. Явил я тебе, государю, прибыли с новой реки, с Анадыря, семь сороков десять соболей. В нынешнем же, государь, во 7156 году, Герасимко Анкудинов прибрал к себе воровских людей человек с тридцать, и хотят они торговых и промышленных людей побивати, которые со мной идут на ту новую реку, и живот их грабить, и иноземцев хотят побивать же, с которых я прибыль явил, а мне, холопу твоему, с теми торговыми и с промышленными людьми твою государеву службу служить и прибыль сбирати. И те, торговые и промышленные люди,

от их воровства, что они хотят побивать и грабить, на ту новую реку идти не смеют потому, что тот Герасимко Анкудинов со своими воровскими заговорщиками хочет побивати и живот их грабить...»

Семен писал сердито, перо разбрызгивало чернила, слова повторялись. Челобитная вышла длинной и путаной.

Пятко Неронов как прибежал домой, так сразу на печь залез, живот от испуга отогреть.

Да не больно-то отогреться, коль связала тебя судьба-злодейка с Герасимом Анкудиновым.

Сам наскочил.

— Ругал тебя Семен последними словами на крыльце?

— Ругал, батюшка!

— Слазь с печи! Пиши на него явочную челобитную.

Слез Неронов, нарисовал все, что велели.

Семен дописывал свою челобитную на Герасима, а Герасим уже вталкивал в съезжую избу замученного Пятко Неронова.

— С чем пожаловал? — спросил Втор.

— Челобитную подать, — Пятко неотрывно смотрел в пол...

— На кого челобитная-то?

— На него.

Показал на Дежнева одними бровями, не отрывая глаз от пола, — боялся.

Втор подскочил к нему, вырвал челобитную.

— «...во 7156 году июня в 8-й день бранил тот меня Семен всякою неподобною бранью неведомо за что... Вели, государь, на нем дать свой царский суд...» — читал Втор быстро, внятно, с пропусками. — Принята челобитная, Пятко Неронов. Ступай!

Неронов попятился к двери, задом выбил ее и выкатился на улицу.

— Давай-ка, Семен, отчаливай поскорее, а то, гляжу я, на тебя такое могут нагородить, что и впрямь придется взять под стражу.

Уходили из Нижнеколымска тихо при малых людях на берегу. Втор Гаврилов провожал, целовальник с ним да священник. Вот и все. Рано уходили или поздно —

кто же знает, день стоял полярный, без ночи, только спал Нижнеколымск.

Хотел Дежнев Анкудинова обмануть, да Герасима след простыл. Исчез его коч из Нижнеколымска. Куда — неизвестно, и спокойнее от этого на душе не стало. Небось вперед уплыл, поджидает где-нибудь.

Перед самым отплытием пришил Семен на парус своего коча шкуру кабарги, которая ест смолу.

— Без тебя, Сичю, в поход иду. Пусть душа твоя молит о нас у господ. Пусть волшебная сила твоего народа поможет нам.

Обнялись друг с другом все шестьдесят товарищей, послушали молебен и подставили попутному ветру холщовые паруса.

Ходко пошли.

А назад дорога и десятерым из них указана не была.

### УМНЫХ ДА БЫВАЛЫХ СЛУШАТЬ НАДО

На выходе в море из реки Колымы стоял коч Герасима Анкудинова. Море было спокойное, далекое, будто льды приснились мореходам пасмурным прошлогодним летом. Ветер дул на восток, кочи радостно бежали. Герасим Анкудинов плыл впереди, нагло. Его люди поорали обидные слова на дежневский коч, но утомились и примолкли. Дежнев своим отвечать не велел, а ругаться безответно — все равно что с эхом аукаться.

На третий день увидали лежбище моржей.

Баженка Астафьев и Афанасий Андреев — приказчики купца Василия Гусельникова — стали было поворачивать кочи к берегу, но Дежнев велел им идти дальше. Свернул парус на своем коче, подождал приятелей и поговорил с ними грозно.

— Упустим ветер, погоду упустим, принесет льды — не видать тогда Анадырь-реки.

— Ну и бог с ней, с рекой твоей, — ответили разобитые приказчики, — смотри, сколько здесь рыбьего зуба живьем гуляет! От такой прибыли невесть куда и зачем бежать, может, за погибелью своей.

— Не каркайте, мужики, — Семен стал суровым, как пустынный, — море, оно все слышит. Ничего не забывает.

Поднял Дежнев паруса и побежал, обгоняя другие кочи, на свое первое место. Мастерил его коч сам Иван

Пуляев. А лучше пуляевских кочей и не бывало никогда.

Так легко по спокойной воде, под чистым небом, под немеркнущим солнцем плыли семь дней. На седьмой день пошел ветер с севера, побежали вперекос по морю белки, ударили волны в борта, будто заманивая к берегу.

— Парус долой! Поворачивай в море! — приказал Дежнев.

Пять кочей из семи развернулись носом на волну, и гребцы, выбиваясь из сил, повели свои кочи в открытое море, подальше от каменных нелюбезных берегов.

Повернул в море и Герасим Анкудинов. Хороший был мореход Герасим, а вот молодые приказчики Гусельникова Баженка Астафьев и Афанасий Андреев надумали хитрей умных быть: подумалось им — совсем Дежнев спятил, от бури в бурю попер. Не слушая окриков с других кочей, Баженка и Афанасий повернули свои корабли к берегу.

Закрыло облаками небо. Волны подросли, но не шибко, а белые гребешки над их крутыми лбами распетушились уже не на шутку. Кочи раскачивало, как колыбели, гребцы промахивались мимо воды, весла ударялись о борта, и Дежнев приказал убрать их. Теперь кочи воевали с морем в одиночку. Люди им не могли помочь.

Огромный Митяй лежал между лавок гребцов, закатив глаза и разинув рот. Кита убивает незыблемость берега, Митяя вконец замотало морское непостоянство. Он лежал глыбой, будто мамонт, и никакая сила не заставила бы его теперь пошевелиться. Желудок Митяя давно опустел, и, уморившись страдать, он заснул вдруг и проспал всю бурю, до последнего примирительного шлепка по гладкой боковине коча.

Пока он спал, случилась первая большая беда.

Кочи Астафьева и Андреева прижало к берегу, и море било о камни их до тех пор, пока они не лопнули, как орехи. Доски, людей и пожитки море выбросило на землю, прихватив свою львиную долю: в дереве, в людях и пожитках.

С коча Дежнева видели беду, но помочь было нельзя, море несло кочи на восток и унесло неведомо как далеко.

Утихли ветры, кочи выстроились рядком, а впереди опять плыл разбойный Анкудинов.

Без двух кочей стало на пустом океане сиротливей. Молились, отходя ко сну, мореходы страстно. Далекый



лежал путь, и смертей на нем, что ветров. Одна взяла свое — отступила. Назавтра ослепительно засияла другая.

## ЛЬДЫ

Буря нагнала льды. Они загородили море, и было видно, как забежали люди на коче Анкудинова.

Хлопнул, обмякнув, парус, отпуская ветер на все четыре стороны.

— Сдрейфил Герасим-то, — сказал Иван Пуляев Дежневу. — А мы, думаю, проскочим. Льды-то как решето худое.

Дежнев Пуляеву верил, что самому себе, да и Анкудинова хотелось посрамить. Прошли мимо, не сбавляя хода. На коче Анкудинова молчали.

Строил кочи Иван Пуляев знатно, а водил их с детства. Не один и не десять даже раз ходил он на Новую Землю — то с отцом, то со старшими братьями, а в семнадцать лет сам за главного.

Забрались в ледяную кашу. Правил кочем Пуляев. На нос поставили с баграми Фому Пермьяка и Митяя. Митяй отдышался после бури, полизал для очистки мозгов ком соли и теперь старался вовсю — стыдился, что, когда надо было грести, подвел товарищество, слег. Отпихивал он льдины от коча напрапалую, все, до которых доставал его огромный шест.

Кочи, как гусята за гусыней, шли следом. Ни один из них не уступил дорогу Анкудинову, и разбойнички потянулись последними. Впереди уже тяжело сипел глубокий океан, оставалось проскочить последнюю малость, и рисковый Пуляев завел коч в узкую щель между двумя полями льдов небесной чистоты.

Пуляев видел, что поля пошевеливаются, что они, не ровен час, могут сойтись, как два голубка, но понадеялся на ход, на ветер. А ветер вдруг попритих, коч скользил по узкой улочке, будто во сне, все медленнее и медленнее, и нельзя было помочь ему веслами, потому что весла упирались в ледяные стены.

До гладкого моря оставалось не больше сорока саженей, когда белые голубки, каждый в версту длинной, прихватили легонько коч, а потом и поднажали.

Верный Митяй, синее от натуги, отжимал свою льдину. Льдина шла так, будто не было на свете никакого Митяя, и Митяй осерчал. Взревел, налег. Шест великий,

как лук самого Ильи Муромца, согнулся и выпрямился вдруг. Свистнуло, ухнуло, и Митяй, засверкав голым пузом, полетел над кочем, а потом — по бесконечной льдине, все на том же голом животе, веруя в рай и удивляясь, что он оказался холодным, белым и скользким.

Коч захрустел деревянными костями, страшивая ледяные объятия.

— Пропали, Иван? — Дежнев сунулся бородой в самое ухо Пуляеву.

— Погоди! Обхитрит коч льды, не впервой.

Поля сходились неминуючи и сошлись. Сошлись — и вознесся пуляевский коч\*. Лежал на белом льду смиренной рыбиной, а к ней, этой рыбине, спешил со всех ног Митяй. Едва перевалился он через борт, как грянул ветрище, наполнился до краев забытый парус, и коч, словно не коч он вовсе, а сани-самокаты, скользнул по льду и плюхнулся по-тюленьи в воду.

Поплыл.

Ледяные поля растащило, и пошли, пошли по чистой воде пять кочей. Четыре праведных, один разбойный, а все они были русскими, одинокими на том океане на тысячу верст, и никак они не могли поделить между собой это бездольное и бесконечное одиночество.

## БОЛЬШОЙ ЧУКОТСКИЙ НОС

Солоно пришлось мореходам. Опять забурился океанкотел, и никто не думал, что придется на белом свете принять новые многие муки, а все думали, что отмучились.

Не было на океане лица. Серый, как прошлогодний мох, тяжело вздыхал он, и от каждого вдоха возносились кочи к небу, в бородастую муть серых облаков, а потом падали, неудержимо и долго, и над ними поднимались соленые гладкие хребты, серые, как и весь океан, в жемчужном ожерелье пены, и все это поило чукотского бога накатывало смертно и вдруг, вместо того чтобы накрыть, бережно подстиралось, и опять взлетали кочи и падали опять.

И, взлетев, увидали с коча Дежнева, как, не вытерпев столько смертей, поддался чей-то коч. Лежал он в самой глубокой пропасти днищем кверху, и океан, смущенный своей неловкостью, накрыл его быстренько и отбросил Дежнева подальше.

Большой Чукотский Нос по тихому морю обогнули три коча. Были эти кочи Федота Алексеева Попова, Семёна Иванова Дежнева и Герасима Анкудинова.

Увидали на берегу чудную башню, увидели небольшую речку, решили пристать. Проведать, что за люди живут, набрать свежей воды, запастись съестным: плавали третий месяц. Наступил сентябрь.

Дежнев первым сошел на берег, за ним потянулись было остальные, но Дежнев велел остаться на кочах. Не дай бог иноземные люди устроили засаду. Было тошно покачиваться на волнах прибоя. Ноги так истосковались по земле! Но приказ есть приказ. Ждали.

Дежнев поднялся к башне. Она была сложена из китовых костей.

В башне жили. Вился над нею дымок костра, пахло рыбой и мясом. Поодаль от башни стояли яранги. Вокруг морехода закружила пестрая свора собак.

— Эй! — крикнул Семен. — Есть кто?

Яранги стояли молча, и башня не отзывалась. Семён позвал людей на якутском языке и по-юкагирски. Опять никто не отозвался. Семен хотел было зайти в башню, как вдруг над головой свистнуло. Отшатнулся, выхватил пистоль. В двух шагах позади лежал костяной топор.

Дежнев торопливо насыпал из берендейки \* порох на полку, и тут из башни, снизу откуда-то, вышел мальчик. Он нисколько не испугался казака. В его руках был костяной кинжал, и он ждал нападения, покачиваясь на расставленных кривых ногах.

— Ай да воин! — Дежнев рассмеялся и заговорил по-юкагирски: — Где отец? Ты меня понимаешь?

Мальчик следил за каждым движением Дежнева, не отвечал, но по его смысленным глазам было видно, что он понимает этого странного бородатого человека.

— Я хочу пить! — Семен руками показал на свои сухие губы, почмокал.

Мальчик ткнул кинжалом на пригорок, где лежал молодой снег.

— Я есть хочу! Ам, ам!

Семен вытащил из кармана голубую бусинку и, подкинув ее, показал мальчику. Глаза маленького воина засияли. Он сделал знак Дежневу, чтобы тот стоял на месте, и исчез в башне. К ногам Дежнева шлепнулись одна за другой две сушеные рыбины и кусок свежего тюленя.

Рыбины Семен поднял, а ворвань оттолкнул ногой.

Мальчик удивился, потом насупился, но Дежнев перебросил ему бусинку, и мальчишка заплясал, забыв про опасность.

С берега закричали, и Семен побежал назад. На многих байдарах подходили чукчи.

— Что будем делать, Федот? — крикнул на соседний коч Дежнев.

— Ты сам-то что проведаль на берегу, скажи?

— Пусто у них. Одни дети. Я думаю, положить надо кое-что из товаров и отойти.

— Можно и так. Только ведь нам все равно опять приставать придется — за водой, за едой.

— А вы меня вместе с товаром оставьте. Договорюсь. Не впервой.

— Смотри, Семен!

— Двум смертям не бывать. Клади на берег товары.

А на коче Анкудинова готовились к бою. Дежнев углядел это.

— Анкудинов! Отойдешь в море вместе со всеми. А нет... — и дал знак своим ребятам. Те сдвинули вбок деревянную русалку, украшавшую нос коча, и на Анкудинова серьезно глянула тяжелая затинная пицаль. — Потоплю, гляди! — досказал Дежнев понятнее.

Анкудинов заругался, однако отчалил.

Кочи отходили все дальше и дальше. Длинные кожаные байдары чукчей замешкались было при виде неведомых деревянных кораблей, а теперь мчались к берегу. Дежнев насчитал одиннадцать байдар, и в каждой сидело восемь человек. Дежнев сел на камень перед товарами и стал ждать хозяев земли.

Чукчи выскакивали на берег, торопливо вытаскивали байдары. И, разделившись на два отряда, с копьями в руках двинулись в разные стороны.

Один отряд побежал наверх, к ярангам, другой медленно и зловеще окружал чужестранца.

Дежнев перекрестился, сотворил молитву:

— Во имя отца, сына и святого духа ныне, присно и во веки веков. Аминь!

Встал, распахнул руки, показывая чукчам, что у него нет оружия. Вспомнил о кинжале, вынул из ножен, отбросил. Чукчи наступали, не меняя боевого порядка.

— Да нет у меня ничего! — рассердился Дежнев. — Чего копьями-то махать?!

Воины были уже близко, когда от китовой башни прибежал гонец. Показал своим голубую бусинку, видно, у

мальчишки отнял. Копья сразу опустились. Семен руками подзывал иноземцев: подходи, покупай!

Купцы оставили на берегу обычный товар: медные зеркала, пестрые шапки ярких цветов, кафтаны, расшитые доброй сотней пуговиц, бусы, медный котел, ленты.

Чукчи стояли поодаль, зачарованные зрелищем диковинных, прекрасных вещей и не в силах побороть робость. Вдруг появились женщины. Они были одеты так же, как и мужчины, — в меховые кухлянки \*, но любопытнее они были мужей раз в десять. Красота сразила их. Как галки, бросились к Семену, и в воздухе запорхало красное, зеленое, синее.

Растолкав женщин, подошел высокий крутоплечий чукча.

— Эрмэчын, — стукнул он себя в грудь.

— Семен, — Дежнев малость поклонился.

Чукча обнюхал его и, улыбнувшись, повторил:

— Сэмэын.

— Во-во, Семен!

Заговорил по-юкагирски, вставляя ламутские и якутские слова. Его понимали. Семен показал на кочи.

— Это мои кочи. Мы будем с вами торговать, а вы нам дадите мясо, рыбу, воду, рыбий жир, шкуры.

Семен забрал из рук одной женщины красный кафтан и отдал Эрмэчыну.

— Бери.

Эрмэчын обрадовался.

— Пусть пристают твои большие лодки. Будет мир.

К Эрмэчыну подошел старик, заговорил быстро, сердито. Семен догадался, что это шаман, но не догадался что-либо и ему подарить. Самый сильный чукча оттолнул старика и повторил:

— Пусть пристают твои большие лодки.

Семен дал знак, и кочи пошли к берегу.

У чукчей был удачный день. На охоте они убили с десяток лахтаков \* и много маленьких тюленей. Женщины ходили на свою охоту, за травами, и тоже принесли немало. Лето в тот год было на редкость большим, и в начале сентября снег выпал только один раз. Добычей женщин были листья красной ивы, капусты и листья камнеломки, которые чукчи едят, заливая жиром нерпы.

А тут еще пожаловали чужеземцы со своими необыкновенными товарами.

Пока кочи причаливали, чукчи притащили клыки моржей, шкуры лахтаков, собак и соболей.

К их удивлению, теплые собачьи шкуры русские не брали, а брали маленькие шкурки соболей и кость.

Закончив торговлю, чукчи пошли к своим байдарам, выгрузили лахтаков и тюленей и стали их делить.

Мясо и жир лахтаков резали на ровные куски и делили между всеми охотниками. Головы и клыки получили хозяева байдар.

Шкуры расщепили. Первую получал хозяин, вторую стрелок.

Эрмэчын получил две головы и целую шкуру. Ему же отдали маленького тюленя целиком. Маленьких тюленей отдавали тем, кто убил их.

Начался праздник.

Чукчи пригласили русских в яранги. Угощали рыбой и мясом, пытались потчевать сухими мухоморами. Дежнев с Федотом Поповым и Анкудиновым были в китовой башне у Эрмэчына. Оставлять Анкудинова вместе с его братьями было рискованно. От мухоморов русские отказались и угостили Эрмэчына водкой. Тот посмотрел сначала, как пьют русские, покряхтывая, отирая ладонями усы и бороды. А потом и сам отпил глоток. Отпил, зажмурился и сидел, не открывая глаз, чуть покачивая головой. Федот тревожно толкнул Дежнева, но тот губами сделал знак: спокойно.

Наконец Эрмэчын разжал веки.

— Во все времена ни один чукча не пил более усладительной воды, чем эта. Я первый чукча, выпивший глоток воды, дающей блаженство. Я — преславный человек!

Он допил свою водку до конца, дал облизать посуду жене и, развеселившись, созвал чукчей на игры и пляски.

Начались состязания. Лежало пять камней. Один больше другого. Молодые воины поднимали эти камни, но не у многих хватало силы поднять пятый.

Митяй, почувявший под ногами твердь, повеселел. Он хорошо поел, отдохнул от качки и теперь ринулся похвалиться силой. Камень поднял рывком, стоял, взметнув его над головой, красный от натуги и вытаращив от счастья глаза.

Ему показали еще на один камень, в отдалении. Митяй помчался к нему. Схватил и не одолел. Покрутился вокруг, подышал спокойно, изловчился, рванул и взвалил на грудь. Закачался под тяжестью, но устоял. Набрал в грудь воздуха, ахнул, и камень на мгновение взлетел высоко над его головой и, вырвавшись из рук, упал.

Митяй отер рукавом мокрое от пота лицо и сел на этот камень без силы. Чукчи окружили его, похлопывали по плечам, спине, а Эрмэчын поднес ему шкуру лахтака потому, что никто в стойбище, кроме самого Эрмэчына, не мог поднять этот камень.

Раздались удары бубна. На праздник пришел шаман. С ним было пять сильных чукчей, они трудно несли совсем небольшой камень. Эрмэчын лег на землю спиной, выставив руки вверх. Носильщики положили ему на руки свой камень. Он был с хорошее ядро. Эрмэчын подержал камень на вытянутых руках и опустил на грудь. Силача обступили восемь молодых чукчей. Они взяли Эрмэчына за ноги, за руки и оторвали от земли.

— Колдуют, видать, — сказал Попов Дежневу.

— Похоже.

Но оказалось, что тоже состязание. Эрмэчына с камнем поднимали или пытались поднимать и другие чукчи.

Эрмэчын предложил поднять этот небольшой камень и русским. В одиночку даже Митяй его не сдвинул.

— Камень-то небесный, — определил Попов. И угадал. Позже шаман рассказал русским начальникам, что на Луне живет женщина Пынырваырчын. Она выдаивает из груди пищу для людей. Одни звери падают на землю, другие в море, и хозяева леса и моря посылают этих зверей охотникам, но однажды мать-богиня выдоила огромный камень. Он долго плыл по небу, а потом упал на Большой Каменный Нос. Видно, кто-то рассердил Пынырваырчын. Сердить ее опасно, а то вместо зверей надойт она на землю и в море огненных камней, и будет голод.

Устроили чукчи и другие состязания. Бегали по кругу, кто останется последним. А в том кругу, выложенные камнями, были еще два круга. По первому бежали молодые охотники, по среднему — пожилые, а в центре носились мальчишки.

Бегал тут и Семенов дружок. Дежнев увидел его и сказал Эрмэчыну:

— Этот малец, когда я пришел на стойбище, чуть не убил меня топором, а потом хотел ножом зарезать.

Эрмэчын от радости ударил в ладоши.

— Ого! Я создал насильника, грабителя чужих стад. Я создал воина. Я — хороший человек.

— Видал, как у них, — удивился Дежнев и покосился на Анкудинова. Тот все время сидел молча и на этот раз отвел глаза.

<sup>2</sup> Русские жили у чукчей неделю. Опять разыгралась на океане буря, и пришлось ждать, когда она утихнет. Федот Попов был сам не свой. Ветры били о землю кручеными хлыстами мокрого снега. Зима врывалась наскоком, и теплый в мечтах Китай был в такой несусветной, зыбкой дали, что казалось, нет другого исхода, как лечь лицом вниз на эту чужую холодную землю и помереть не борствуя, потому что своя, русская земля лежала, может быть, еще дальше.

Попов бродил эти дни одиноко. Сквозь ветер и снег взбирался на Каменный Нос и глядел туда, откуда пришли, и туда, куда собирались плыть дальше.

Поднялся однажды и Дежнев с ним. Попов сказал ему:

— В Сибирском приказе, в Москве, немец показывал мне карту. На той карте земля у них сплошняком идет. А тут — море, на Китай и на Индию заворот. Я ему, тому немцу, и тогда про это сказал, а он смеялся, дурак.

— А ты откуда сам-то знал, что море здесь?

— Не знал, нутром чуял, да и приказные сомневались в той карте.

— Верно, значит, говорил, тут вправду море. Однако на Анадырь надо спешить. Придем зимой — лихо будет. Место неведомое, иноземцы неведомые, еду найти неведомо как и где.

— Холодно. У нас-то теперь праздники, урожай собрали, хлеб свежий едят, молочка бы парного, да и с ледника бы. Хорошо!

На краю неба тучи разошлись вдруг, и стали видны далекие острова. Их было два.

— Чукчи говорят, что на островах этих живут зубатые люди \*, — сказал Дежнев, — они пронимают сквозь губы по две рыбы кости.

— Как угодонится буря-то, зайти к ним надо будет. Слышал я, рыбьего зуба у них много.

— Зайдем. Мне вот Анкудинов покоя не дает. Прийти что-то.

Как только Анкудинов поприших, Семен перешел спать на коч: боялся каверзы. Приходил он спать поздно, засиживаясь в китовой яранге Эрмэчына. У того был старый отец, который длинными вечерами рассказывал сыновьям и внукам сказки. Дежнев до сказок был люби-



тель и слушал старика до тех пор, пока тот от старости не засыпал, забывшись на полуслове.

Больше всего пришлось ему по нраву сказки о Пичвучине. Рассказывал их старик с любовью, рассказывал их своему любимцу храброму мальчику Онно, тому, кто не испугался бородатого чужестранца.

— Если на тебя напал самый сильный, самый страшный непобедимый зверь, — тихо и монотонно говорил старик, — и если уклониться от безнадежной борьбы нельзя — бейся. Ты можешь победить потому, что даже у самого сильного и беспощадного есть своя слабинка, о которой он не любит думать, но про которую никогда не забывает.

Нет сильнее Пичвучина. Нет Пичвучина беспомощнее... Он мудр и добр. Он плакса. И все это правда.

Пичвучин ловит в море китов и одной рукой бросает их на берег.

Он тормозит медведей так же, как мы тормозим щенят.

Пичвучин боится мышей и маленьких рыб. Когда мышь, даже самая глупая, не мышь, а мышь-ребенок выходит из норы, Пичвучин дрожит от страха и плачет.

Ростом Пичвучин в половину пальца. Он носит кухлянку из шкуры собаки, такой маленькой собаки, какую мы ни разу не видели. На ногах у Пичвучина — торбаса \* из нерпы. Из такой маленькой нерпы, какую не убил ни один охотник, даже самый зоркий. Шапка у Пичвучина соболиная. Из такого маленького соболя, какого еще никто не видел и которого никто никогда не увидит.

Пичвучин подолгу плавает по морям и много ходит по земле. Но никто не может отличить его следы от мышиных, так они похожи.

## АНКУДИНОВ

Анкудинов заговаривал зубы Попову.

— Федот Алексеев, вот и ты меня зовешь разбойником. Сам знаю, по молодости нашумел лишнего. А ты меня не суди, как все судят. Понять сумеи.

— Что ж тебя понимать? Грабил?

— Грабил.

— И сказ весь!

— Не весь. Ты посмотри, Федот Алексеев, что делается-то кругом. Мне тридцати нет, я не дурак. Я в любом месте приказчиком могу хорошо быть. А кто меня

по моим годам приказчиком поставит? Дежнев враг мой, но я о нем скажу — головастый мужик. Идет он приказчиком, а весь чин его — простой служилый. Ему бы десять лет назад атаманом быть, а теперь бы полковником на Москве... Тянул бы я лямку, как и все, тоже бы своего дождался, и атаманского чина, и боярским бы сыном был, ждать тошно. Не могу я ждать, Федот Алексеев. Мне сегодня подавай богатую жизнь, а завтра меня, может, и не будет, завтра меня, может, чукчи убьют или море утопит.

— Не дело говоришь, Герасим. Приказчиком хочешь быть, кричишь — сумеешь, а сумеешь ли? Сумеешь ли, как Дежнев, иноземцев не огнем взять, а миром?

— На мир я чихать хотел. Иноземцы передо мной трепетать должны. Скучно смотреть, как Дежнев обхаживает их. Сказки, говорят, каждый вечер слушает. Он бы еще богу ихнему молился.

— Зазнаешься ты, Герасим, заносишься. Назад нечего смотреть, ты смотри, чей коч последним о камни ударит.

— Мой, что ли? Я свой коч сам покупал, сам вожу и на Колыму приду на нем же. Попомни мое слово, Федот Алексеев.

— Добро бы, если так...

— За Дежнева ты держисься, Попов. Зря. Со мной бы тебе и веселей жилось, и богаче. Потрясли бы мы этих чукчей, сходили бы на острова, зубатых людей потрясли. Товаров своих не растратили, а о прибыли нашей сто лет разговаривали бы...

— Прощай, Герасим. К людям своим спешу. Запомни только: богаче земли все равно не будешь, а за богатство на крови кровью платят, на слезах — слезами.

Герасим плюнул в сердцах и пошел прочь.

Федот Алексеев рассказал Дежневу об этом разговоре, и Дежнев не пошел к сказочнику; как стемнело, прокрался к анкудиновскому кочу, втиснулся возле кормы, между бортом и каменистым берегом, и слушал. Вели разбойнички разговоры степенные, и думал Семен, что зря морозил бока, но Герасим кликнул вдруг в казенку Пятко Неронова. Нашептывал ему страшные слова. Велел пробраться ночью на коч Дежнева и зарезать Семена до смерти. Награды Анкудинов давал Неронову сто рублей деньгами да столько же соболями или рыбьим зубом.

— А откажешься, али трусишь, али переметнешься,

убью тебя, Пятко, с великими мучениями, — досказал Герасим свою сказку, — рвать велю тебя клещами, а потом в океан брошу.

Пятко поперек и слова не сказал.

Семен выждал, как пошибче загалдят разбойнички, выбрался из укрытия и ушел к своим людям. Спать он отправился на коч, как всегда, в одиночку, только перед этим послал туда тайно Митяя. Лёживо приготовил Семен на обычном месте, только не для себя, а для куклы. Сам в другом углу затаился.

Ночью кто-то тихо перелез через борт и пошел по палубе на корму, где стояла казенка для приказных людей и где спал теперь Дежнев. Дверь отворилась бесшумно. Явилось вдруг пятно посветлей, а на нем темное. Мгновение вор постоял, прислушиваясь и привыкая к новой темени. Потом шагнул к лавке, на которой спала кукла. Нащупал тулуп, распахнул, и тут вора, бедного, так старательно двинули по затылку, что рухнул он на колени, а потом боком повалился на пол.

— Ты не железом его? — спросил Дежнев из своего угла.

— Да нет, кулаком.

— Живой?

— Пощупаю сей миг. Теплый.

— Дышит?

— Да как будто не дышит.

— Вот ведь сила-то!

— Ничего, Семен Иванов, бог даст, отойдет. Жалеть-то его вредно. Спящего человека хотел порешить. Нехорошо это.

— Нехорошо, Митя.

— Так чего, спать, что ли, будем?

— Можно и соснуть.

— А его куда?

— А его, Митя, отнеси-ка ты тихонько Анкудинову. Ихний ведь он. На своем коче скорей и отдышитесь.

У Анкудинова не спали. Герасим жег на железном листе большой огонь. Чтоб отвести от себя разговоры, пригласил на свой коч людей Федота Попова и угощал, чем мог. Пел, пил, а сам тревожно прислушивался к ночи. Наконец раздались осторожные, тяжелые шаги. Анкудинов не выдержал и встал. Шаги затихли. Гости посмотрели на Герасима и тоже насторожились.

Вдруг над бортом появилась фигура, бережно положила на палубу Пятко Неронова.

— Кто? — закричал Анкудинов.

— Я это, Митяй!

— Кого принес?

— Пятко вашего. Хотел он Семена спящим зарезать, а я его стукнул кулаком маленько, а он чего-то не дышит.

Казаки вскочили со своих мест, схватились за оружие.

Кто-то окатил Неронова водой, он зашевелился.

— Повесить мало! — разъярился Герасим. — Да я его сам на куски разорву.

Выхватил из-за пояса кинжал.

— Стой! — сказали из темноты. — Не он убивал. Его рукой убивали.

На коч поднялся Дежнев.

— Митя, возьми-ка опять Пятко. Отнеси к нам. Там ему спокойней будет.

Ни слова не возразил Анкудинов.

Море затихало. Все ленивее бросало оно просоленную свою требуху на каменные берега, слизывая все ту же каменную, невкусную еду. Но оно надеялось на добычу, и пожирнее, и все набегало, набегало.

Чукчи, довольные великой усладительной водой, невиданной красоты одеждами и бусами, вышли всем стойбищем на берег и, завораживая море, начали свою самую древнюю игру в прыжки.

Прыгун становился на шкуру. Шкуру подхватывали несколько человек, раскачивали и подбрасывали на ней прыгуна, а тот должен был устоять.

Ни один мужчина так и не смог удержаться. Все падали. Тогда вышла дочь Эрмэчына, встала на шкуру и, как бы высоко ни бросали ее, ни разу не упала. Когда люди утомились, девушку опустили на землю. Она сошла со шкуры и, не сводя глаз с Дежнева, подошла к нему и обнюхала.

— Русский косматый человек! — сказала она. — Я не упала ни разу, и, значит, море утихнет. Значит, откроется тебе далекая морская дорога. Пусть будет удача тебе.

Она раздумянилась, черные глаза ее, будто спелая черемуха, блестели.

— Спасибо тебе, девушка, — сказал Семен. — Спасибо, что постаралась для нас. А если впрямь море ты

этим успокоила, все перед тобой на колени встанем. Ведь правда? — ища поддержки, повернулся к товарищам, и те, пряча смешки в бороды, сказали:

— Истинно!

Тревожно было Дежневу. Не спалось ночью. И только сомкнул глаза, приснился Пичвучин. Сидит будто Семен на берегу реки. Не здешняя река, не чукотская. Берега зеленые, дно у реки — белый песок. Через всю глубину видно, что делается в рыбьем царстве! И видит вдруг Семен — плывет по реке крошечный Пичвучин. Плывет саженками. Машет что есть силы, а до берега далеко. А за Пичвучином гонится голавль красноперый. Да был бы голавль, а то так — голавлишко. Плавает, нахал, не торопится, ест Пичвучина по малым частям. Один торбасок стянул и жует. Пичвучин плывет, плывет, а пятка у него голенькая, посинела от холода, того и гляди судорогой ножку сведет. А голавль уже другой торбасок стягивает.

Забросил Семен удочку промеж голавля и Пичвучина. Червяк на крючке красный, живой, ворохается. Голавль хватя его. А Семен — дерг. Красные перышки на красном солнышке куда раскраснелись!

Бросил Семен голавля в траву. Смотрит, где Пичвучин, а он уже на берегу.

— Спасибо тебе, бородатый человек, — говорит, — ты меня спас, и я тебя не забуду. Спокойного моря ждешь, а море-то уже спокойно.

Вскочил Семен, глаза протер, слушает. Не шумит. Выбрался из казенки — спокойно на океане. Месяц ущербный горит. Посреди неба — кол-звезда, Полярная. Чукчи рассказывают, что под ее жилищем дыра в другой мир. Изба у кол-звезды ледяная, на коньке — фонарь. Виден огонь того фонаря в обоих мирах.

— Ну и сон! — обрадовался Семен и пошел к стойбищу будить людей. — Хватит спать. Целую неделю спали. За ночь и утро можно до островов зубатых людей дойти, поторговать быстро — и на Анадырь-реку.

Идет Семен открыто, не стережется, и вдруг голос дикий — так и сел.

Стоит возле китовой башни голый человек, запрокинул голову к месяцу и шепчет страшным шепотом:

— О, луна! Я показываю тебе части своего тела. Прояви сожаление к моим гневным помыслам. Ни одной тайны не скрыл я от тебя! Помогите мне против борода-

тых людей! Они притворяются добрыми, но они зловы. Они притворяются простаками, но они хитры. Помоги мне, луна!

Это был шаман. Шаман затапцевал свой танец, упал от усталости на землю и опять, подставляя искаженное яростью лицо луне, шептал заклинания.

— Тому, кто подвергнут моему гневу, я говорю: «Ты не человек, ты — тюленья шкура!» Кроватьку призываю: «Постоянно скреби его и пробей его насквозь. Столь велик мой гнев, столь велик твой гнев! Скоро покончив, скоро истреби, еще до наступления времени бури и снега!»

Шаман пополз на четвереньках вокруг китовой башни.

Потом поднялся и, пошатываясь, медленно ушел в свою ярангу.

Семен выждал, поднялся с земли. Легкое настроение исчезло.

Отошли перед рассветом. Первым Дежнев, за Дежневым Попов, за Поповым Анкудинов. Провожали кочи всем стойбищем. Эрмэчын стоял с огромной головешкой в руках и размахивал ею, словно хотел осветить русским путь.

Плыли.

— Что-то я Анкудинова не вижу, — сказал Пуляеву Дежнев.

— А ну его! Опять дурит. Небось решил один на Анадырь идти. Обогнать захотел.

— А если обгонит?

— Не обгонит.

Далеко в море были кочи, когда с Большого Чукотского Носа долетел гром пицалей.

— Анкудинов! — Семен схватился за голову. — Что он наделал, проклятый вор!

А там, где совсем недавно горели дружеские огни, пылали зловещие пожары. Анкудинов грабил и жег яранги.

## НА МОСКВЕ

Веселилась Москва. Царь Алексей Михайлович, молодой, сильный, проснулся в то утро в таком легком и ясном счастье, и такое утро выпало синее, морозное, без ветра, такое здоровье лилось от румяного солнца и го-

лубого снега, что невозможно было плохо подумать о чем-то, сделать нехорошее или просто зряшное.

Алексей Михайлович поехал посмотреть медведей. Медведи были редкие, белые, их привезли из Мезени, и вся Москва сбежалась глядеть потеху.

Против Кремля, на реке, расчистили от снега лед, оградили место острыми деревянными кольями и пустили трех медведей, а на медведей собак.

Господи! Смеху-то было. Собаки лают, бросаются, а скользко — прыгнет и на всех четырех лапах медведю в пасть катится. Медведь на дыбы, лапой хватить и тоже от размаха-то поехал в другую сторону.

Народ устал от смеха. Кто в снег сел, рукой отмахивается, хоть помирай. Кто икает без остановки. Уж и не на медведей глядят люди, друг на дружку, и только животы поддерживают, чтоб не лопнуть.

Царь тоже посмеялся. Хорошо, когда в царстве смеются. Потом другую потеху глядел.

Алексей Меркульев вышел на бой с бурым. В буром-то было пудов двадцать пять, а Меркульев тоже человек строгий — двадцатый год с медведями бился, потешая царей.

Медведь был голоден и разъярен. Люди, окружившие частокол, улюлюкали, тыкали медведя в бока острыми палками.

Меркульев хорошо поел утром, и теперь, когда прошло время, еда перешла в силу. Он был уверен в себе и расчетлив. Раздевался возле царского места. Сбросил шубу, остался в кумачовом просторном кафтане, в кумачовой шапочке на стриженной голове. Рукавицы снял. За широкий пояс сунул широкий нож, взял рогатину, попробовал ее на излом, поклонился царю, крестом грудь осенил и вошел к медведю.

Медведь косолапо носился по кругу, замахиваясь на обидчиков. Теперь он остановился, ноздрями попробовал воздух и взревел, вытягивая длинную шею и помахиывая перед мордой когтистой волосатой лапой. Он понимал, что от него хотели злые люди, укрывшиеся за частоколом, и он развернулся на Меркульева, и заревел на него, не грозя, а скорее упрашивая не послушать злого умысла. Но человек мягко стоял на ногах и строго смотрел в черную медвежью пасть, ожидая нападения. Вольно покачивая огромным телом, медведь побежал на Меркульева, остановился перед ним и медленно, вырастая в гору, поднялся на дыбки, чтобы сверху, всей тяжестью

рухнуть на человека и кончить стыдное представление. И когда осталось ему подняться самую малость, Меркульев сделал выпад вперед. И когда медведь рухнул, то рухнул сердцем на железную, каленную в жарких печах рогатину и, не в силах удержать свое великое тело, падал до тех пор, пока рогатина не прошла сквозь сердце, разорвав его на части. Медведь напоследок махнул великанской лапой, но Меркульев присел, и только красная шапочка, зацепившись за когти, осталась у медведя, и он все держал ее, лежа на примятом снегу и кося черным глазом на дурацкий помпончик. Может, и сорвал-то он ее потому, что люди в честь царя стояли без шапок, один боец не как другие.

Все возрадовались, когда медведь умер, а царь сбежал с золоченого своего места и наградил Меркульева двумя рублями и велел поить его допьяна.

Меркульев на радостях бухнулся на колени, а потом пил бесплатно и безмерно в кабаке и на коленях полз домой через Москву, и дополз, потому что привык и убивать медведей, и без меры пить.

Царь поехал между торговыми рядами. Торговые ряды зимой устраивали на льду Москвы-реки.

Царь ехал в длинных санях. Два ближних боярина с шапками в руках стояли на запятках, два стольника у ног на полозьях, по сторонам шли стрельцы с пищалями, позади саней — придворные. И все без шапок, в лютый мороз.

По торжищу вели человека. Он был обвешан дохлыми собакой, петухом и кошкой. Палачи рвали время от времени клещами его тело, и человек катался по снегу, кровавая его, тонко и долго выкрикивая стон.

— Что он сделал? — спросил царь.

— Убил мать, — ответил ближний боярин.

— Топить ведут? — опять спросил царь, хотя знал ответ наперед.

— Топить ведут.

Царь перекрестился.

— Я милую его, — сказал он тихо, радуясь своей великой власти и своей доброте. — Велите повесить его, бедного. Холодно в воде-то.

Загрустил. Грустно, когда люди режут друг друга, душат. А ведь как хорошо — жить в любви, в согласии, в труде, в помыслах о боге. И услышал вдруг царь пение. Серебряно, будто лето на дворе стояло, цел кто-то молодой, души чистой:



Господи, силою твоею  
возвеселится царь  
и о спасении твоём  
возрадуется зело!

Голосу вторили хрипло, обмороженно.

Царь велел остановиться перед певцами. Пели слепые странники. Одеты они были худо, только старик, закутанный в женский платок, — совсем воробышек — был в новеньких валенках.

Кто знает, как заприметили слепые царя, но запели они молитву, сложенную в его честь.

— Боже единый и премудрый, и страшный, и превеликий, превыше небес пребывающий, живущи в свете неприступном в превелицей, велепней и святой славе величества своего! Тобою, господом, Христом избранному и почтенному, и превознесенному, и возлюбленному, и святым елеем помазанному, великому государю нашему, царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси, самодержцу и многих великих государств, и земель, на востоце сияющих, и на севере пребывающих, и к югу подлежащих, и к западу касающихся, пребывати ему во святой твоей воле и творити волю твою благу и благоугодну, и совершенну.

Опять заливался серебряный голос, но как царь ни всматривался в слепцов, не мог угадать, чей это голос.

— Кто поет благолепно? — спросил Алексей Михайлович.

Слепцы замешкались, потом разомкнули свое кольцо, и царь увидел горбатенького. Был он молод, пригож лицом и бос.

— Как же голос твой на таком морозе сберегается? — удивился царь.

— Милостью божьей.

Отрок поднял на царя темные глаза, и тот чуть было не вскрикнул.

— Да не Василием ли зовут тебя?

— Васькой.

— А не ты ли коня мне своего отдал?

Василий встал на колени, ткнулся лбом в снег.

— Спасибо, государь, царь и великий князь всея Руси, Алексей Михайлович, что не забыл меня, ничтожного.

— Тебе спасибо! Искал я тебя и знаю то зло, которое учинилось. Отведите его в Кремль, к моим бахарям

и домрачеем, и старика возьмите, — приказал Алексей Михайлович слугам. — Сколько лет ему?

Дед, трудно ломая колени, упал перед царем.

— Сто лет, батюшка великий и премудрый...

— Как хорошо! Он и деда моего застал, Федора Иоанновича, и прадеда моего великого. Пусть он мне вечером расскажет свои сказки... А всех слепцов накормить и напоить вином бесплатно.

Слепцы кланялись, а царь, творя добро, следовал дальше.

— Хорошо-то как царем быть! — сказал он ближнему своему боярину Василию Ивановичу Стрешневу. — Сколько ведь за день можно доброго людям сделать!

— Истинно, государь!

— Слава тебе, господи! Слава тебе, господи! — Алексей Михайлович смахнул с пушистых ресниц радостные слезы, и тут доложили: приехал в Москву митрополит новгородский Никон.

— Вот ведь! — Царь расплакался от счастья. — Вспомнил господа нашего бога, и Никон объявился. Святой, строгий и любезный брат мой, господу человек угодный. В Кремль! В Кремль!

## В ДЕНЬ СЯТОГО ЗОСИМЫ И САВАТИЯ

20 сентября 1648 года бешеное море подхватило коч Герасима Анкудинова, вознесло над каменным берегом и уронило. Коч разломился, но люди уцелели, не повезло только одному — умер.

Дежнев и Попов подошли к берегу.

Высадились.

Люди Анкудинова из обломков коча уже успели запалить костер, теснились вокруг огня, жалкие, мокрые.

Герасим был один. Он стоял лицом к морю, без шапки, слюдяной от застывшей на одежде воды.

Дежнев молча постоял у костра. Люди Анкудинова глядели на него с надеждой и страхом.

— Пойдете ко мне на коч, — сказал Дежнев.

Ожили, зашевелились, заулыбались.

Семен направился к Анкудинову. Герасим повернулся к нему лицом.

— Ликуй, Семен! Судьба на твоей стороне... Пожалей меня, Семен! Пожалей!

Слезы текли из его глаз, леденели, но голос был тверд.

— Пойдешь на моем коче, Герасим.

— Не пойду на твоём коче, Семен. Или мало тебе моего позора и моей нищеты? — рухнул на колени. — Радуйся!

— Дурак.

Герасим вскочил.

— Не дурак. Да что вы знаете об Анкудинове? Что вы знаете об его помыслах, о его мечтах? Это сердце мое разбилось, Семен! Это не коч, это я умер.

— Пошли греться, — сказал Семен.

У костра Анкудинову дали малахай, рукавицы.

Он поискал глазами, увидел Попова.

— Возьми меня к себе, Федот.

— Иди, места хватит.

— Бог наказал нас, — сказал Иван Пуляев. — Сегодня Зосима и Савватий — наши морские покровители, а мы и молебна не отслужили.

Стали молебен служить. Молитвы вместо священника читал Дежнев, а потом Пуляев рассказывал о чудесах святых соловецких отцов.

— Плыл один человек по морю. Плыл, да и сверзился с ладьи. Ладья ушла, а он тонуть стал. Так бы и утонул, но вспомнил святых отцов наших Зосиму и Савватия и помолился им. Вдруг слышит голос: «Протяни руку». Протянул руку и почувал твердь. Открыл глаза и видит: плывут то ли по воде, то ли над водой два пловца и его за собой тянут. Тут объявился на море корабль. Чудесные пловцы исчезли, а корабельщики увидели тонущего и спасли.

Костер из обломков коча высоко поднимался в небо. Наварили еды, поели хорошо. Загрустили, и вспомнилось родное.

Подуй, повея, погодка,  
Погода, эх, да не маленькая.  
Ах, да ты, ох, да ты раздуй, раздуй,  
Ах, развея да ты, ой, рябинушку.  
Раздуй, ой, да ты кудрявенькую...

Хмельной от горя, развеселился вдруг Герасим Анкудинов. Песни пел лихие, так пел, что сам же и плакал.

Ах ты, мать моя,  
Злая мачеха,  
Что ты бьешь меня,  
Что ты мучаешь?  
Ты не бей меня,

Не позорь меня!  
Ах, подруженьки,  
Вы не слышали,  
Как в осенну ночь  
В темной горнице  
Мать зарезала  
Добра молодца.  
Деньги вынула,  
Полы вымыла...  
Я пойду к нему,  
Полечу к нему!  
Наряжу себя  
По-бывалому:  
В косу длинную  
Ленту алую.  
Вон и месяц уж  
Взошел на небо,  
А в сыром бору  
Соловей запел.  
Что ты бледен так  
В белом саване?  
Обними меня,  
Приголубь меня!

А потом порвал на рубахе ворот Герасим, совсем веселое запел. Пел, пальцами прищелкивал, глазами поигрывал, зубами смеялся, а казаки, на него глядя, побабьи всхлипывали. Дежнев и тот не удержался, а Федот Попов вторил Анкудинову. Хорошо у них получалось.

И вдруг просвистела, сломала ту песню злая стрела. Стрела ударила Попову в грудь. Повалился он, а казаки подхватили оружие и поворотились к врагу.

На русских наступали чукчи. Вел их в бой друг Семена Эрмэчын.

Вдарили казаки из пицалей. Упал Эрмэчын, а остальные убежали. Когда Семен подошел к Эрмэчыну, тот лежал неподвижно, как убитый, а кровь текла из ноги. Семен встряхнул его за плечи.

— Вставай! Завязать ногу надо, а то кровью изойдешь.

Чукча открыл глаза.

— Убей меня! Я для тебя стал дичью.

— Дурака не валяй, Эрмэчын.

Тот вдруг взвизгнул от ярости.

— Ты меня взял в плен, ты поразил мои ноги дьявольским огнем, я не хочу жить. Не мы первые напали на вас. Мы вас проводили с почестями. А что сделали вы? Нам ничего не надо от вас. Наша еда ходит вокруг

нас на ногах. Наша еда растет, пока мы спим. А ты послал своего дурного человека жечь яранги. Я не хочу жить. Убей меня!

— Не буду я тебя убивать, Эрмэчын. Кликни своих, они помогут тебе уйти. Мы не будем стрелять.

— Ты не хочешь меня убить, тогда я убью себя сам. Я уйду из жизни так же, как ушел мой отец.

Он выхватил из-за пояса костяной нож и ударил себя в живот. Рана была не смертельная, но Семен слышал от чукчей, что если кто-то из них произнес желание вслух — желание становится законом. Не выполнить его нельзя. Эрмэчын пожелал умереть так же, как умер его отец, и он должен был умереть и в тех же мучениях.

Семен пошел прочь. Оглянулся. Эрмэчын обвязал горло ремнем и душил себя.

— Господи! — перекрестился Дежнев.

И снова свистнули стрелы. Семен едва успел отбежать к своим, чукчи наступали с трех сторон. Никакая пальба, никакие смерти, казалось, не в силах были остановить их. Они падали, мертвые и раненые, но все бежали и бежали на русских. И русские дрогнули. Подхватив раненых, они отступали на кочи, к которым уже подобралось человек с полсотни конейщиков.

На море не унималась буря, но пришлось уйти спешно под градом ледяных брызг, под градом костяных стрел.

Море обрадовалось кочам, опутало их белой паутиной своих грив и понесло в разные стороны: Дежнева вдоль берега, к югу, Попова в открытое море. С кочем Дежнева море играло десять дней, а потом устало и выбросило его на берег. Это случилось утром первого октября. Видно, иссякла волшебная сила кабарги, которая ела смолу и которая так долго берегла мореходов от невзгод.

На землю, засыпанную снегом, ступило двадцать четыре землепроходца. Они знали, что море сыграло с ними и еще одну злую шутку: пронесло мимо заветной Анадырь-реки.

Ни Попова, ни Анкудинова не видал больше Дежнев. Спустя несколько лет отбил он в бою у карякских племен жену Федота Попова. Рассказала она, что Попов с Анкудиновым пристали к берегам Камчатки. Муж и многие другие его товарищи погибли от цинги и в боях, а кто уцелел, сели в лодку и поплыли в отчаянии куда глаза глядят, может, и до Китая добрались.

Не верилось Дежневу, что погиб его хороший товарищ. Смотрел пронзительно в черные глаза Федотовой жены, ложь искал в них и не находил.

## НА АНАДЫРЬ-РЕКУ

Они умели голодать. Им было с кого брать пример. Северный человек не пугается пространства. Выстели перед ним Великий океан, научи ходить по воде, и северный человек весело отправится на денек-другой в гости, к хорошему другу с Камчатки в Сан-Франциско. Северный человек будет идти день, и другой, и третий, не сомкнув глаз, без крошки во рту.

Они — русские люди, прибитые морем к неведомой, но громадной земле, шли шесть недель, и уже целую неделю были голод. Это был голод среди снегов, под пургой с океана, голод бездомных, обмороженных людей. У них ничего не осталось, кроме оружия и меховых одежд. Силы у них тоже не было, но они не бросали оружия и берегли ремни, на которых оно держалось. Они ели свою одежду. Силы после такой еды не возвращались, а холоднее становилось. Но ведь не умирали все-таки. Все-таки не умирали. Они жили, они каждый день шли вперед, прижимаясь к океану и не упуская из виду колзвезду. Лютовали морозы, но никто из мореходов не подумал повернуть на юг. Была цель — Анадырь-река. И они шли к ней, не зная, что она такое, какие народы встретят их там, далеко ли она или совсем неведомо как далеко. Они верили в свою Анадырь-реку и месили непротопанный снег не одну сотню верст.

Вырыли в снегу яму. Гора заслонила от большого океанского ветра. Снег, как шатер, укрыл от малых змевитых ветерков.

Трудно отыскали среди камней и заносов тощие деревья, трудно разожгли огонь, поставили на него котел с водой и лоскутами кухлянок, ждали, когда кожа разбухнет и можно будет жевать ее большими зубами вприкуску с мерзлой корой осины.

— Тяжко соболя-то даются, а? — толкнул в бок Митяя неунывный Фома Пермяк.

Пока плыли на кочах, был Фома человеком маленьким, пока была еда, не замечали, а как неведомо стало — без Фомы и дня не прожить. Был он всегда моло-

дец молодцом и таким веселым, что и в голоде смеялся.

Сидят служилые в снежной яме, над головой ветер поет, в животе голод. От мокрых торбасов пар, на хилом огне варится и вовеки веков не сварится, кажись, ременная еда.

Куда лежит их путь — неведомо, что их ждет — неведомо, а холод — тут как тут, голод — тут как тут. И ползает в затемненной голове червячок: а не предостаточно ли мук, не все ли кости морозом прощупаны, много ли мяса на теле чужой стрелой не пробовано? Помереть слаще, помереть легче, чем на пудовых лыжах тянуть пудовые нарты с пищалями, с порохом, с товаром для неведомых народов, которых все нет и нет. Некого покорять, не с кем дружить, а торг один — или выюга тебя завьюжит, или ты переборешь выюгу.

Заводит Фома Пермьяк, на закаменелых товарищей поглядывая, подковыристый разговор:

— Слышал я, Митяй, про ваших, устюжинских. Новину чистили два брата. День жаркий был, и упала на одного ель. Обрадовался парень. «Ваньмо! Как меня охолонуло! Садись и ты!» Брат сел, а другой пошел ель рубить. Ель упала — и по башке. «Ваньмо! Охолонуло тебя?» А он-то молчит уж вечным молчком.

— А чего молчит-то?

— Да как же ему, Митяй, не молчать? Понравилось.

— Елью-то?

— А чего?

— Ничего. Ели-то, они здоровые больно.

Не смеются казаки, но и червячок уже не копошится. Сидор Емельянов подхватывает разговор:

— А у вас, Фома, в Пермь-то, слышал я, сватают хорошо. Приходят к невесте сват да полусват. Сват хвалит жениха, а полусват — вдвое. Говорит сват: «Жених-то хороший, у него две лошади». А полусват: «Что ты, две — ведь четыре».

«У него четыре коровы».

«Что ты, четыре — ведь восемь».

«Одно нехорошо в женихе: видит плохо на один глаз».

«Что ты, на один — ведь на оба!»

И хохот вдруг. Смеются хорошо. Потом жуют безвкусную клейкую кожу. Пьют отвар из коры и валяются спать.

Дежнев не поднимает их спозаранку, как в первые недели пути. Сон сохраняет те малые силы, которые еще

есть в людях и которые надо сберечь. Даже сам приказчик реки Анадырь не знает, где она, его река, за ближайшей горой или за горами, день до нее идти или еще пять недель ходу.

Спит Семен, знает, что спит, а мысли в голове ходят ясно, как наяву.

— Где же вы, иноземцы? — спрашивает он. — Объявитесь! Хватит прятаться. Давайте воевать, если не хотите миром идти под московского царя. Давайте торговать. Вам полюбятся наши диковинные товары. Объявитесь! Мы умираем с голоду. Нельзя прожить на земле без людей. Объявитесь! — И вдруг запорхала перед Семеном малиновая, с голубыми глазами да зелеными разводами бабочка, а ростом с лопух. Села. Семен подкрался близко — не улетает. Упал на нее и поймал. Обрадовался. Показывает своим казакам, а пыльца слетела вся: большая бабочка да серая.

Закричали вдруг дико. Вскочил Семен. Держат казаки под руки Пятко Неронова, а нос у Пятко уже в крови.

— На тебя, Семен, спящего, с ножом кинулся.

— Убивайте! — Пятко Неронов плакал навзрыд. — Силы больше нет. Куда он ведет нас? В пропасть. Один снег. Съедем кухлянки — от мороза подохнем, не съедем — с голоду.

— Ты хочешь идти назад? — спросил Дежнев. — Иди. Может быть, теплее будет и сытнее. А мы, пока не дойдем до Анадыря, не разойдемся. Много нас. Трудно еду для всех добыть. А малыми отрядами — скорей погибнем. Решайте, служилые!

— Чего решать! — крикнул Фома Пермяк. — С ним вот чего делать?

— Будет тащить нарты три смены.

Пятко — в ноги.

— Прости, Семен Иванов, спасибо, что не убил. Разум темнеет. Ведь второй раз спасаешь меня.

Будто во сне, будто сквозь туман, еще неделю шли. Валились отдыхать через десяток шагов, но шли. Оружия не бросали. И ни один больше не роптал.

В тот день они спрятали на приметном месте товары, пробились сквозь осинник и на краю леса легли отдохнуть и заснули. Так мало осталось в них жизни, что не



бредили громко, а сны были ласковы, как в детстве, и никому не захотелось пробудиться.

Митяю спился мед. Будто вовсе он не Митяй, а медведь. Сидит себе на дереве и черпает лапой. От каждого глотка силы растут, и сам он огромный, как Святогор. Тепло ему, ветер цветочный с полей, пчелы кусают, но не больно. Щекочут его пчелы, и смеется он так, что листья на осинах дрожат.

Дежневу опять снился Пичвучин. Снег лежит белый, просторный. Бежит Пичвучин, падает, проваливается.

— Ты куда торопишься?

— К тебе.

— А чего ко мне-то?

— Как чего! Плохо тебе. Ты меня спас от рыбы, и я тебя спасу.

— Спасибо, Пичвучин. Только ведь спасать меня от чего? Голодно — это да. Да разве сможешь ты накормить такую братию.

— Накормить я вас накормлю, да не об этом речь. Посмотри на своих казаков.

Глянул Семен, а казаки под снегом. Бороды у них ледяные, глаза стеклянные. Замерзают.

Проснулся Дежнев. Вскочил. И правда, под снегом казаки, ни один не шевелится. Давай тормошить их.

Противились, молили не трогать, грозили, а когда поднял всех, благодарили бога.

— А ведь не наш бог спас наши души, — сказал им Семен. — Пичвучин во сне явился мне. Говорит, замерзают твои казаки. Я проснулся и диву даюсь — не обманул крошка Пичвучин, лежите вы под снегом, ни ногой, ни рукой.

Фома Пермьяк серьезно сказал:

— Ну, как увидишь еще Пичвучина, скажи ему спасибо. Сердце, видать, у него доброе.

Пошли было в путь, и вдруг — медведь. На людей прет.

— Семен! — закричали казаки. — Стреляй, пока не ушел.

Дежнев — пистоль из-за пояса, бахнул. Медведь заревел, на дыбы, махнул лапой — Пятко Неронов кувырком — и бездыханно. А медведь на Семена, да заслонил его Митяй. Обнялись они с медведем и стояли долго, только похрустывали кости. Слабеть стал Митяй, а казаки вокруг недвижимо, словно зачаровали их. Думали,

конец Митяю. А медведь заревел вдруг и осел. Митяй на него, без силы. Темно в голове, а рукам горячо.

Подбежали казаки, очнувшись: готов медведь. Всадил ему Митяй в сердце нож. И Дежнев не промазал — в левый глаз пуля вошла.

Пока обдирали шкуру, пока отхаживали Митяя, запылал костер. Медведь сломал Митяю три ребра, а Митяй спас казаков от голодной смерти.

Пятко Неронова никто не пожалел, но Дежнев велел схоронить мужика по-христиански. Яму долбили, молитвы читали. Поставили крест. Осиновый крест. Больше-то не из чего было сделать.

Митяя везли на нартах. Никто не роптал, что тяжел больно паря. Хороша была медвежатина, жирна, сила от нее закопошилась в руках, побежали ноги резвей.

На десятую неделю пути пришли казаки на Анадырь-реку.

Не порадовала Анадырь-река.

## АНАДЫРЬ

В землянке было тепло и сытно. Вечеряли. Кто-то про что-то лениво вспоминал вдруг, его так же лениво слушали, балуясь расколodкой. Расколodку готовили из вкусной рыбы реки Анадырь. Рубили проруби, скучавшая по воздуху рыба сама прыгала на лед. Ее морозили, а потом ели, раскалывая ножами.

Здесь было много рыбы, но леса было мало. Где нет леса, там нет соболя. Иноземцев тоже не нашли. Тогда отряд разделился надвое. Дежнев остался возле устья реки, а другая половина с Фомой Пермьяком пошла искать иноземцев или хотя бы следы их.

Минуло три недели, а Пермьяк все не объявлялся.

Басни рассказывать надоело. Примолкли. Встревожились. Вдруг Митяй сказал:

— Чует мое сердце — придет нынче Фома.

Засмеялись.

Трепала лучина. Люди дремали. А стоило пламени шевельнуться, как головы поворачивались к двери.

И дверь распахнулась наконец. С клубами мороза, под рев пурги вполз Сидор Емельянов, а за ним Фома Пермьяк.

К ним бросились. Стащили с них обмерзшие одежды. Поставили еду. Они ели, и никто их ни о чем не спрашивал.

Фома заговорил сам:

— Иноземцев не нашли... Наши мужики вырыли ямы в снегу и ждут вас. Сил больше не было идти. Недалеко уж осталось, версты три-четыре, а сил больше нет... Втроем к вам пошли: я, Сидор и Зырянин Иван. Иван тоже не дошел, в снег лег, ждет...

Казаки вскочили, полезли в кухлянки, поразбирали оружие.

Иван Зырянин замерз. Отряд не нашли. То ли иноземцы взяли сонных казаков в плен, то ли звери утащили, то ли пурга занесла хитро.

Осталось на Анадырь-реке двенадцать счастливыхчиков. Готовили бревна для будущего острога, ловили рыбу, поглядывали на солнце. С каждым днем солнце все дольше и дольше задерживалось на небе. Близилась весна. Надо было жить.

## ПОСЛЕДНЕЕ

Сквозь решетчатые, расписанные морозом окна заглядывала игриво государыня Москва.

Начальник Сибирского приказа, окольник Родион Матвеевич Стрешнев, долго молчал, то бороду пощипывал, то поглядывал на стоявшего перед ним казака, то косился на подъячего, топившего печь.

— Как же так случилось, казак, что девятнадцать лет не получал ты государева жалованья?

Казак вежливо поклонился, прежде чем ответить.

— У нас многие так, то денег нет, то в походе дальнем. Я в походах все годы был.

— Подсчитали мы. Выходит тебе жалованья денежного девяносто пять рублей, а хлебного — за рожь и овес — тридцать три рубля, один алтын и четыре деньги. Всего сто двадцать восемь рублей, один алтын, четыре деньги. Много?

— Много. Да ведь заслуженное.

Стрешнев взглянул по-особому на гордого казака.

— А сколько тебе лет?

— Шестьдесят.

— Шестьдесят? Борода седая, а лицом молод.

— Северные люди долго не стареют.

— Ну, что ж, Семен Дежнев, спасибо! Хорошо государю послужил, — уткнулся в бумаги. — Открыл новую реку Анадырь, острог там поставил, явил государю двести семьдесят соболей, двести восемьдесят четыре пупка \*

собольих. Двести восемьдесят девять пудов кости рыбьего зуба по шестьдесят рублей за пуд, — покачал головой окольниковый. — Двести восемьдесят девять пудов! Это ведь на семнадцать тысяч рублей с лишним. А сколько сам для себя добыл моржового зуба?

— Тридцать один пуд.

— Деньги получил?

— Нет пока что.

— Получишь, Семен Дежнев. Сам государю о тебе скажу. Деньги получишь. Проси, в чем еще нужда.

Семен стоял в тяжелой собольей шубе, широкий, гордый, знающий себе цену человек. Осанкой боярин, одеждой — Стрешнева побогаче. Сказал:

— Хочу бить государю челом, просить чин. Тридцать пять лет служу, был приказчиком на реках, а все простой казак.

— Подавай челобитную, Семен Дежнев!

— А еще бы царя увидеть!

Родион Матвеевич встал.

— Царя! Не простое дело, но тебе обещаю, увидишь царя.

Семен улыбнулся, и Стрешнев тоже вдруг улыбнулся.

— Ступай, казак, с богом. Гуляй себе по матушке Москве. Отдыхай от походов. Когда время придет, позову.

Царь Алексей Михайлович занимался делами.

Двадцать лет сидел он уже на троне. Краснощекий, как мальчик, синеглазый, русобородый, он был ужасно толст, но по-прежнему легок на подъем и горяч.

Перед ним лежала приходо-расходная книга села Измайлова, и он с удовольствием перечитывал ее. Урожай был хорош. Измайловские сады принесли 3938 ведер яблок, 93 ведра смородины черной, 68 ведер красной, 11 ведер белой, 19 ведер малины красной, 2 ведра белой, 25 ведер крыжовнику, 7 ведер клубники, 12 ведер вишен.

Русские растения царя радовали, а вот с иноземными — беда, росли плохо, хотя для них из-за моря выписывали лучших мастеров.

В силу мастерства Алексей Михайлович верил беззаветно, никакие беды не могли подорвать этой веры.

Бумажное дерево — хлопчатник — в Москве произрастать никак не хотело.

— Мастера плохие! — твердил царь и требовал, чтоб нашли других, лучших.

Своему воеводе в Астрахани он писал: «Сыскать семени бумаги хлопчатной самого доброва, сколько можно, и садовника знающего, самого же доброва и сминова, который бы умел завести бумагу на Москве. А в Астрахани семени не сыщется, и боярину и воеводе семени подрядить вынести из-за моря, и мастера призвать из-за моря ж. Ткачей сыскать, которые б из хлопчатной бумаги умели делать миткали, кисеи, бязи и бумагу».

Была у царя мечта развести на Москве диковинные и полезные заморские растения, и те, что на юге росли, и те, что на севере, чтоб Москва всем была богата, чтоб все у нее свое было, непривозное.

В измайловских садах высаживали виноград, финиковое дерево, дыни бухарские и туркменские, арбузы шемаханские и астраханские, миндаль, астраханский перец, кавказский кизил, венгерские груши, траву марену, хлопчатник и тутовое дерево. Очень уж хотелось царю иметь собственный, московский шелк.

Понимая, что дело это хлопотливое и что вырастить на Москве тутовник, может, и не удастся, царь приказал искать такого мастера, который бы умел выращивать шелковичных червей другим способом. Царь даже рецепт придумал: «Из тутового дерева бить масло и, в то масло иных дерев лист или траву обмакивая, кормить червей и за помощью божию завезть шелк на Москве».

За такими вот раздумьями застал царя соколиный верховный подьячий Василий Ботвиньев.

Алексей Михайлович обрадовался ему, предстояло дело забавное и любимое: сегодня Ивана Ярыжкина возводили в чин сокольника.

Обряд совершали в просторной комнате.

Против царского места стояло четыре нарядных стула, на них четыре птицы: на первом стуле кречет, на втором — челиг\* кречатый, на третьем — сокол, на четвертом — челиг соколий. Между стульями — сено и попона. За стульями — стол, покрытый ковром, а на нем наряды птиц и наряд нововыборного.

Четырех птиц Ивана Ярыжкина держали рядовые сокольники. Они стояли перед столом в рукавицах, но без шапок. Остальные сокольники выстроились по обе стороны стола.

Приехал царь. Сел на свое место.

Посокольничий Петр Хомяков спросил Алексея Михайловича:

— Время ль, государь, образцу и чину быть?

— Время объявляй!

— Время наряду, и час красоте!

Посокольничьему принесли челига нововыборного. Стали наряжать птицу. Один надел на челига красный бархатный клобучок, расшитый серебром, другой — серебряные колокольцы, третий — обносцы и должник, ремень, пришитый к рукавице.

Нарядили и других птиц.

— Время ли, государь, принимать и к нововыборному посылать украшения уставлять?

— Время, — сказал царь с удовольствием, ему нравилась торжественность этой красивой игры, которую исполняли перед ним с такой серьезностью и волнением лучшие его сокольники.

Привели Ивана Ярыжкина. Он был в цветастом суконном кафтане, в желтых сапогах.

Помолились.

Верховный соколиный подьячий Василий Ботвиньев сказал речь:

— Великий государь, царь и Великий князь Алексей Михайлович всея Великая, Малая и Белая Руси Самодержец! Нововыборный твой, государь, сокольник Иван Гаврилов, сын Ярыжкин тебе, Великий государь, челом бьет.

Ярыжкин и двое рядовых старейшин сокольников с ним поклонялись.

— Поставить на поляново! — приказал царь.

Ярыжкин встал на сено. На него надели горностаевую шапку, четырехугольную сумку, на которой была вышита волшебная птица Гамаюн, дали воцагу — палку с шариком, серебряный рог, полотенце и рукавицы.

— Время ли мере и чести и укреплению быть? — спросил Хомяков.

— Время.

— Начальные! Время мере и чести удивлению быть.

Василий Ботвиньев взял из сумки Ярыжкина письмо: нововыборного пожаловали пятым начальником. В конце письма стояла приписка: «За непослушание — на Лезу».

Когда церемония подходила к концу, Алексей Михайлович вдруг вспомнил одну мысль, которая вот уже недели две не давала ему покоя. Но опять отвлекли.

Окольничий Родион Матвеевич Стрешнев ударил че-

лом, просил принять служилых людей. Царь вышел к ним. Служилые стали на колени, поклонились.

— Подымайтесь, — попросил царь.

Дежнев глядел на этого толстого и румяного человека и ждал его слова. Ведь слово это не могло быть простым, от него зависели судьбы людей во всех далеких и близких концах страны.

Стрешнев представил царю служилых.

— Это Дежнев Семен Иванов, — говорил он, — левский казак. На Колыме служил, ходил на реку Анадырь.

— Далеко! — сказал царь. — Холодная страна.

«Оценил! — сердце у Дежнева забилося. — Оценил! Понял! Далеко. Еще как далеко, еще как холодно! Да ведь и голодно».

Царь смотрел на служилых, они на него.

— Так наградить всех надо! — вдруг придумал Алексей Михайлович. — Всем по полтине. Или уж по рублю. По рублю!

Царь удалился. Оставшись один, он сел писать заведующему Аптекарским двором: «Приказать Зоту Полозову, чтоб он учинил опыт: велел иссушить рыбы — белуг и осетров и мелкой какой-нибудь порознь, сколько доведется, с костями, также и без костей, и иссуша ту рыбу, истолчи, и истолча, просеять редким ситом или решето, и ту муку смешать всякую порознь с оржанкою, ситною и решетною мукою, а положить рыбной муки в оржаную — в полы, в треть, в четверть, а замеса, испечь и искрошить в сухари, а те сухари в каше, в варенье какovy будут?»

И подумав, дописал: «А то учинить тайно, а не явно».

— Ведь не дай бог, дурное получится!

Тем временем Семен Дежнев сидел в захудалом кабаке и не пил даже. Скучно было, горько. Вспоминал погибших в походах друзей и толстого царя.

Хотелось бежать из Москвы.

Целый месяц ходил Семен вокруг дома вдовы боярина Василия Марии Романовны: сладко ли нести недобрые вести?

Решился все-таки. Постучал в ворота.

Дворня, подозревая в нем недоброе, долго пыталась, зачем ему боярыня, наконец, не добившись толка, впустила в дом, и он ждал в пустой душевной комнате, когда позовут пред очи. Позвали не быстро.

Провели темными коридорчиками к высоким резным дверям.

Двери бесшумно распахнулись, и Семен зажмурился — так много было света в огромной диковинной комнате. Он первый раз в жизни увидел настоящее зеркало, да не одно, а сразу три. Семен стоял в этих трех зеркалах, широкий от шубы, тяжелый, черный, страшный почти. Был он чужой для этой комнаты, где сияли зеркала и тикали со стен, будто по ним скатывались капли воды, многие часы: германские, которые показывали время с полудня, от заката — по счету богемскому, от восхода — по вавилонскому, с полуночи — как в латинской церкви. Посреди комнаты на легких витиеватых подставках стояли медные чаши, и в этих чашах курились благовония.

У Семена закружилась голова. Он таращил глаза, но не видел хозяйку.

— Здравствуй, казак, — сказали откуда-то сбоку.

Косясь на зеркала, Семен развернулся, сначала телом, потом неловко, чтоб не заметили, ногами.

В кресле у стола (а над столом поднимались шкафы, наполненные книгами) сидела женщина.

В смятении своем Семен не разглядел и не запомнил ее лица, а может быть, он его и не видел. Он поклонился, торопливо достал из-за пазухи кожаный мешочек, шагнул к столу и положил его возле белых, тонких, без единого перстня, рук.

Семен не видел-таки лица боярыни. Не видел, как схватилась за сердце, как жадно побежала глазами по латинским словам.

— Ты знал его, казак?

— Знал.

— Ты его давно видел?

— Давно.

— Что он?

— В бою сгинул.

— Когда же?

— Лет уж как тридцать пять.

Боярыня вскрикнула. Долго молчали. Семен смотрел под ноги, на узорчатый пол.

— И ты все время хранил это письмо?

— Сохранял.

— Спасибо тебе, казак. Возьми это.

В широкую казачью лапу, на которой один палец отмерз, другой медведь отломил, опустился тонкий золотой ободок с белоогненной каплей.

Семен попятился к двери.



— Береги, как память о нем, как берег письмо. Это очень дорогой камень. Ах, да! — высоко взметнулся голос боярыни. — Вот тебе на вино.

Рядом с чудо-перстнем лег разрубленный надвое рейхсталер, ефимком названный в России.

Дверь закрывалась уже, когда Семен поднял голову и спросил в отчаянии от совершившейся нелепости и несправедливости:

— Что же было в письме?

— Латинские стихи!

Он медленно шел по скрипучему весеннему снегу. Над Москвой, над куполами церквей чуть плыла светлая голубая ночь. Ласкались звезды. Деревья взлетали над темной громадой домов и земли тонкими точеными веточками.

— Эй! — крикнули Семену.

Оглянулся. Перед ним стоял подьячий Сибирского приказа.

— Грамота на тебя пришла. Гони выпивку! Ты теперь не простой казак — атаман.

Семен сунул руку под шубу и бросил подьячему серебряный ефимок. Подьячий в изумлении от щедрости сибиряка согнулся пополам, а когда разогнулся, Семен Дежнев маячил в конце улицы.

Остановился на миг, поднял глаза к небу. Кол-звезда подмигивала людям Московской земли, но никто не понимал здесь, о чем она подмигивает, а Дежнев понимал.

...Никогда не знали русские люди, что сделали для мира, никогда не просили честную расплату, предводительные даденым, упивались неверным словом хвалебным, иноземной лаской бесстыжей, а что внутри бережено было, то не под золотом, не под хитростью, не под каким чином, а выше всего, — никогда не высказано, но любому да самому несчастному и последнему русскому известно.